

К.М. СТАНЮКОВИЧ



ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

К.М.Станюкович. Избранные произведения. В 2-х т. Том 2 //Издательство
«Художественная литература», Москва, 1988
FB2: "Ustas ", 2006-07-14, version 1.0
UUID: BF821047-1A52-434F-B21A-2E0678CFA0CA
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Константин Михайлович Станюкович

**Похождения одного
благонамеренного молодого
человека, рассказанные им
самим**

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0015
III.....	.0025
IV.....	.0041
V.....	.0055
VI.....	.0071
VII.....	.0081
VIII.....	.0091
IX.....	.0100
X.....	.0114
XI.....	.0125
XII.....	.0136
XIII.....	.0152
XIV.....	.0158
XV.....	.0169
XVI.....	.0187

**Константин Михайлович
Станюкович
Похождения одного
благонамеренного
молодого человека,
рассказанные им самим**

Очень уж хотелось мне жить, как другие порядочные люди живут, чтобы обстановка и костюм были приличные, пища вкусная и питательная, — словом, чтобы все как следует. Грязь и бедность, постоянные мысли о том, как бы прожить месяц, — все это просто терзало меня. А жили мы в ту пору с маменькой и сестрой в маленьком уездном городке совсем бедно. Будущности никакой. Так себе, живи впроголодь, носи коленкоровые рубашки и думай, как бы не износить сапогов раньше времени. Протекции у нас не было никакой, родственники всё жалкие, необразованные люди, знакомства мизерные... Подобная будущность пугала меня... За что пресмыкаться, глядя, как другие люди живут, как следует жить... Зачем же мне дали образование в гимназии? Лучше было бы и вовсе не учить меня. Гибнуть я не хотел...

Папенька (царство ему небесное!) умер, нисколько не позаботившись о нас. Умер он, как и жил, в бедности (чтобы похоронить его сколько-нибудь прилично, пришлось зало-

жить кое-что из рухляди), хотя по должности, какую он занимал, мог бы, как другие, обеспечить свое семейство.

Боже сохрани меня осуждать родителей, но я рассуждаю так: если человек обзаводится семьей, то его священный долг позаботиться о ней, чтобы не поставить кровных своих в безвыходное положение. И без того нищих довольно. Если не имеешь силы обеспечить семью, то не следует иметь детей.

Папенька был очень странный человек, не в меру гордый и раздражительный, а маменька, по слабости характера, не имела на него никакого влияния. Иной раз она сделает сцену (когда уж очень изнашивались на нас платье и обувь), затеет разговор насчет средств, но тотчас же и замолчит, встретив презрительный взгляд отца. Обыкновенно он как-то перекашивал губу и, когда маменька жаловалась на бедность, раздражительно отвечал:

— Воровать прикажешь?

Маменька пробовала было заговаривать насчет платьев и башмаков наших, но отец с какою-то усмешкой перебивал:

— Что они у нас, принцы мекленбургские,

что ли? И в дырявых походят.

Маменька умолкала, а отец, бывало, задумается и некоторое время спустя как-то задумчиво промолвит:

— По крайней мере, дети отца добром вспомнят!

После таких сцен он особенно нежно ласкал меня и сестру, прижимал нас к своей впалой груди и долго вглядывался в наши лица. Потом, как мы подрастали, меня он реже ласкал и иногда загадочно так на меня глядел, словно я был для него загадкой и он за меня боялся. Сестру, напротив, очень баловал, по своему разумеется. Мне и завидно было и досадно, что папенька совсем был непрактичным человеком. Уж какие тут принцы! В доме у нас постоянные недостатки, а он о принцах! Я, бывало, нередко беседовал на этот счет с маменькой, но у нее, как у женщины, не было никакой выдержки.

Нужно было исподволь, осторожно, но как можно чаще касаться этих вопросов (капля точит камень), напирая преимущественно на родительские чувства (отец очень любил меня и сестру), а она вдруг раздражалась упрека-

ми и слезами и вслед за тем, вместо того чтобы выдержать характер и показать недовольство, сама же просила извинения у отца. Разумеется, отец еще более упорствовал в своей гордости, полагая, что и мать с ним во всем согласна (это насчет средств). А она соглашалась с ним более по слабости. Сама, бывало, плачет втихомолку над нами, что мы несчастные и нищие, а поговорит с отцом — успокоится. Никакой не было выдержки у маменьки!

Про отца все говорили (и до сих пор говорят) как о честном человеке, но чудеке. Но от этих разговоров ни маменьке, ни мне легче не было. Если бы даже о папеньке говорили иначе, а у нас были бы средства, то все-таки уважали бы нас более и нам не пришлось бы унижаться перед людьми...

Я только что после смерти отца получил аттестат зрелости, но об университете нечего было и мечтать. Разумеется, если б какие-нибудь деньжонки, я бы кончил курс; тогда место виднее можно было бы получить и жили бы мы прилично. Но и при папеньке-то мы бедствовали, а как скончался он — доктор

сказывал, от чахотки, — то дела наши и совсем расстроились. Надо было жить троим. Я оставался единственной поддержкой семьи. По счастью, я скоро приискал место писмоводителя у мирового судьи, приятеля покойного отца. Жалованье ничтожное, работа такая, что никак нельзя быть на виду, да и сам судья был какой-то невидный и неловкий человек. По утрам судил, а по вечерам играл в карты и был совершенно счастлив. От него никакой протекции ожидать было невозможно. Он и о себе не заботился. Где ж ему было заботиться о других! Да и ничего он не мог бы сделать, если б и хотел.

И стал мне скоро наш городок ненавистен. И жители его тоже ненавистны. Главное, все тебя знают, все видят, что на тебе потертый сертучишко, скверное белье и что дома пустые щи. Все очень хорошо знали наше положение, и, вероятно, потому-то всякая скотина считала своим долгом пожалеть тебя при встрече, и так пожалеть, что и придраться нельзя. Внутри клокочет злоба, а ты еще благодари за сожаления!

Бывало, идешь в свою камеру, а навстречу

какой-нибудь помещик или думский гласный. Поманит эдак обидно пальцем и скажет:

— Здравствуйте, молодой человек. На службу?

— На службу.

— Похвально, похвально... Конечно, жаль, что такой прекрасный молодой человек, как вы, не нашел себе более приличного места, но что делать? Вы ведь, кажется, первым в гимназии кончили?

— Первым.

— Отлично, отлично... Покойный ваш батюшка честнейший человек был; только жаль, ничего вам не оставил, так что вам и курс кончить нельзя. Но что делать! Теперь вы поддержка семьи, и вам делает честь, что вы трудитесь. Похвально, похвально, молодой человек!

Помещик, полагавший, что осчастливил своим сочувствием, жал мне руку и шел своей дорогой, выразив, разумеется, сожаление и похвалу больше для того, чтобы занять минуту, другую разговором.

Такие встречи случались чуть ли не ежедневно. Весь городок точно считал непременно

ным долгом терзать меня, соболезуя о способном молодом человеке и одобряя его похвальное поведение относительно семейства. Даже сторож в камере и тот как-то особенно, обидно-нежно относился ко мне.

«Такой молодой человек, а всю семью содержит! Мать просто не надышится сыном!»

Эту самую фразу все повторяли, бывало, чуть только завидят меня где-нибудь, так что я наконец зеленел от злости, чуть было услышу ее. Все жалели, все соболезовали, но, конечно, никто и не подумал помочь «способному молодому человеку» сделать приличную карьеру.

Наконец все эти сожаления так меня озлобили, что я обходил большую улицу и стал ходить в камеру по закоулкам и пустырям, чтобы не встречаться ни с кем на дороге, и мечтал о том, как бы мне выбраться из униженного положения и уехать поскорей из этого ненавистного мне города.

К тому же, признаюсь, зависть просто ела меня. В самом деле, неужто так-то мне и пропадать здесь? Нет, ни за что!

А из камеры прибежишь голодный домой,

дома неприглядно... одна бедность. Мать подкладывает лучшие куски (ты-де кормилец), отказывая себе и сестре, а эти куски мне и того противнее. И гложет, бывало, меня пуще злость, когда вижу, как маменька во все глаза смотрит, точно собака на хозяина. Во взгляде и умиление и соболезнование, словно бы и она тоже чувствует, что вот, мол, такой способный молодой человек, а всего тридцать пять рублей в дом приносит. Сестра угрюмо смотрит, ест мало, и угрюмость ее тоже во мне желчь подымала. Она-то чего!..

Но я никогда не показывал, что происходило во мне. Сцен я не люблю. Одно только беспокойство и никакого толка. Мне бы хотелось, чтобы все шло у нас в семье тихо, мирно и прилично, а не так, как у пьяных чиновников, где за обедом происходят драки. К тому же я любил маменьку, и мне очень хотелось, чтобы хоть на старости лет она могла жить как следует, а не жариться у плиты.

Поэтому со своими я ничего не говорил о своих планах, а держал их про себя. Еще поняли ли бы они их как следует?..

Раз только я как-то глупо размяк и стал од-

нажды говорить с сестрой об идеале порядочного человека и как надо жить, чтобы иметь право считаться порядочным человеком. Должно быть, я говорил очень горячо, так как только спустя несколько времени заметил, с каким не то изумлением, не то страхом слушала она меня.

— Ты что, Лена?

— Как что? И тебе, Петя, не стыдно? А что нам покойный папа говорил?

Она как-то всплеснула руками, хотела что-то сказать, но промолчала.

— Что ты все: папа да папа? Отец был увлекающийся человек. Он не понимал жизни.

Сестра побледнела при этих словах:

— Замолчи... замолчи... Что ты говоришь!!

Она заткнула себе уши и убежала из комнаты. Глупенькая! Она ничего не понимала. Кажется, разговор поразил ее, и она долго после этого не заговаривала со мной. Вообще, Лена была странная девушка, она походила на отца и была такая же увлекающаяся идеалистка. Ей только что минуло семнадцать лет, и разная блажь ей лезла и голову. То в монастырь собиралась идти, то вздумала мо-

рить себя голодом и все лепетала, как блаженная, что она эгоистка. Мне придется еще говорить об ее печальном конце, а пока замечу только, что она была удивительная девушка, не обращала на себя никакого внимания, хотя были очень хорошенькая, и никак не могла понять простой вещи, что жить — значит наслаждаться, а не страдать... А она точно искала какого-то креста и подолгу, бывало, разговаривала с разными странниками и странницами, заходившими к нам, когда меня не было дома. При мне эти мошенники не смели показываться. Досадно было слушать, как они врут и как дураки им верят.

МЫСЛЬ — сделаться самому порядочным человеком и сделать порядочными людьми мать и сестру — засела гвоздем в мою голову. Я решил, что это должно быть так, и с этою целью собирался ехать в Петербург и там попробовать счастья и испытать свои силы... Мне шел двадцать третий год... Я был здоровым, крепким молодым человеком и, как говорили уездные дамы, далеко не уродом... «Неужели ж я не пробьюсь?» — думалось мне, и надежды, одна другой розовой, щекотали мои нервы... Ведь многого я не требую от жизни. Я желаю только приличного существования. Я хочу жить, как люди живут, — вот и все. И я буду так жить! — не раз повторял я себе, лелея эти мечты, как цель моей жизни.

Нужно было первым делом позаботиться о средствах, и я стал копить деньги. Я получал всего тридцать пять рублей и отдавал матери двадцать пять. Остальные десять я прежде тратил на себя, но теперь стал их откладывать. Я бросил курить, ходил в заплатанных

сапогах и отказывал себе во всем. Я не чувствовал этих лишений и с гордостью думал, что взамен их я достигну цели... Я буду жить, как другие порядочные люди; белье у меня будет тонкое, сигары хорошие, квартира приличная. Я не раз в мечтах представлял, какая именно у меня будет квартира и как те самые люди, которые соболезновали обо мне, будут тогда изумляться: какой солидный человек, всегда при деньгах и без копейки долга... Иногда, размечтавшись, я доходил в дерзких мечтах своих даже до собственной лошади... одной лошадки, эдак шведки, круглой, сытой, какие бывают, как я видал, у докторов-немцев.

У меня бывали свободные вечера, и я решил воспользоваться ими. С этой целью обратился я за помощью к мировому судье и просил его, если случится, порекомендовать меня в качестве учителя. Он охотно согласился помочь мне в этом, и я скоро получил несколько уроков. Платили мне, конечно, мизерно, но я не особенно разбирал.

Возвращался я домой, пил два стакана чаю с черным хлебом и считал накопленные

деньги, притаившись, точно вор, у себя на антресолях. Домашние меня не беспокоили, я просил их об этом... Только мать убивалась все из-за меня, полагая, что я слишком много работаю. Она не понимала, что эта работа была для меня наслаждением. Я им до времени не открывал своего плана, и только через год, когда я скопил таким образом шестьсот рублей, я объявил маменьке, что собираюсь в Петербург.

Она не ожидала этого и испугалась.

— Как в Петербург?..

— Так, маменька... Неужто вы думали, что я всю жизнь буду прозябать в этом городке и позволю вам вести такую жизнь?..

— Какую жизнь?.. Чем же это не жизнь, Петя?

— Ах, маменька!.. Разве так люди порядочные живут, как мы живем? Покойный папенька о вас не позаботился, так я, маменька, о вас позабочусь! — проговорил я гордым и уверенным тоном.

— Эгоист! — раздался из-за перегородки раздраженный голос Леночки.

Я только усмехнулся и не обратил на ее

глупую выходку никакого внимания. Маменька просила ее замолчать, но я поспешил прекратить готовящуюся вспышку сцены.

— Оставьте, маменька, Леночку. У нее свое мнение, у меня свое. Кто из нас прав, покажет будущее... Быть может, и Леночка, когда будет постарше, поймет, что деньги — сила и что без них порядочным человеком нельзя быть!

— Неправда... неправда... неправда! — крикнула она.

— Не сердись, Лена... Я ведь не навязываю тебе своего мнения. Я говорю: быть может...

— Не может этого быть... То, что ты говоришь, безнравственно...

Я не отвечал больше сестре. Очевидно, она не понимала, что говорила.

— Вот, маменька, вам триста рублей, — продолжал я, выкладывая на стол три сотенные бумажки. — Этих денег хватит вам на год, но я надеюсь, что раньше года выпишу вас в Петербург, и тогда мы заживем отлично...

Мать изумлялась все более и более.

— Но откуда у тебя деньги?.. И как же ты-то сам будешь жить в Петербурге?..

— Деньги я честно, маменька, заработал... А для Петербурга я и себе оставил триста рублей.

Мать бросилась обнимать меня и всплакнула-таки... Жаль было ей расставаться со мной...

— Не плачьте, маменька... Я еду за счастьем и найду его... А разве вы не хотите видеть своего сына счастливым?

Пришла и Лена. И она была изумлена, когда увидала, сколько я заработал денег... Очевидно, мое упорство вселяло в ней уважение ко мне...

Она как-то грустно улыбнулась, когда я сказал ей, что в Петербурге она может учиться и что я надеюсь скоро доставить ей средства, но ни слова не ответила на мои слова. Я объявил, что уезжаю через три дня, и пошел к себе наверх.

Мне спать не хотелось... Я ходил взад и вперед по комнате в большом волнении... Я верил в свою звезду, а все-таки сомнения нет-нет да и закрадывались в мой ум. Что-то будет впереди?.. Как-то встретит меня большой незнакомый город?..

Я не помню, долго ли я так проходил, но, взглянув на часы, увидел, что уже двенадцатый час... Пора было ложиться спать.

Вдруг по лестнице раздались легкие шаги, и Лена вошла ко мне в комнату. Она была бледна... Глаза ее были красны от слез... Она приблизилась ко мне, взяла меня за руку и, заглядывая в глаза, как-то странно спросила:

— Петя!.. зачем ты едешь в Петербург?..

— Вот странный вопрос!.. Я еду искать счастья...

Вдруг эта странная девушка горячо обняла меня и, вся вздрагивая, прошептала, наклоняясь над моим ухом:

— Милый мой... дорогой Петя, не поезжай туда!.. Ради бога, не поезжай!..

— Что с тобой, Лена?.. Отчего это мне не ехать?..

— Другому я бы посоветовала туда ехать, а тебе — нет. Ты не сердись, я говорить не умею... Ты... ты сам станешь нехорошим... Ты совсем испортишься... Ты совсем перестанешь любить людей...

Она говорила прерывисто и так жадно смотрела мне в глаза.

— Я тебя, Лена, не понимаю...

— Ах, нет... Ты понимаешь... Я и сама, впрочем, не понимаю... Я больше чувствую это... Петя, родной мой! Разве тебя не мучит ничто другое?.. Неужели тебе только и заботы, что о себе, как бы тебе получше жить?.. А о других ты никогда разве и не думал?.. Разве тебе не жаль других, и ради их неужели ты не позабыл бы себя?.. А ведь тот идеал порядочного человека, про который ты говорил — помнишь? — тот идеал не ведет к добру... Петя... Петя... вспомни покойного отца... вспомни, чему он нас учил...

Она вдруг зарыдала и, припав к руке моей, обливала ее слезами.

— Лена... Леночка... Да что с тобой? Ты какая-то экзальтированная... Чего ты желаешь?.. В монахи, что ли, идти мне?..

— Ах, лучше в монахи, если есть вера... А то ты только и веришь в деньги... Сгубишь ты себя...

— Но ведь я для вас же хлопочу... Разве так хорошо жить?..

— Не то... не то... Ах, ты не то говоришь, Петя... слишком много заботаешься о себе... Ты

себя очень любишь.

Я старался успокоить Лену, объяснял, что я ничего нечестного не сделаю, но что я только хочу быть человеком.

Но она не успокоилась после моих слов и что-то пыталась мне объяснить, но вместо объяснений она говорила какие-то горячие слова о том, как надо жить по правде... Говоря о своей правде, она вся вздрагивала... Видно, бедную странники совсем сбили с толку.

Я с сожалением слушал ее порывистые речи и доказывал ей, что глупо с ее стороны так волноваться из-за того, что я еду в Петербург. Разумеется, я постараюсь получить место, постараюсь пробить себе дорогу и не пресмыкаться, как теперь...

— Того я и боюсь, Петя, что ты успеешь... Ты упорен... у тебя характер есть...

Больше она ничего не говорила... Заладила одно, что боится за меня, что я людей забуду и какую-то «правду» забуду...

— Ты, Леночка, ребенок и ничего не понимаешь... Мечтательница ты... а я... жить хочу...

— Но разве твоя жизнь — жизнь?

— Ну, довольно об этом, Лена.

— И ты едешь?

— Еще бы!

— Да спасет тебя бог! — проговорила она как-то порывисто, обняла меня и тихо, понурив голову, вышла из комнаты.

Глупая эта сцена, однако, смутила меня, и я долго ворочался в постеле... Долго не мог заснуть... Все мне мерещилась белокурая Леночкина головка, ее возбужденные глаза и ее порывистые речи...

Как же жить-то? Она искала выхода по-своему, я по-своему. Пусть же нас рассудит жизнь!.. А волноваться, как она, из-за пустяков я не мог же в самом деле... Страдать за других, когда я страдал за самого себя, за маменьку и за сестру!.. Да с какой стати?.. И наконец, все это одни глупости... Жить надо!.. Надо жить!

В этом всё!.. Когда я себя устрою, тогда не забуду и о других... Но прежде всего о себе... Чем же я виноват, что я себя люблю?.. Да, люблю и возненавижу тех, кто помешает мне добиться своего счастья...

Так размышлял я в те поры, и когда стал

засыпать, то ясно слышал, как на соседней церкви пробило пять часов...

На другой день я отправился к мировому судье и объявил ему, что оставляю место...

Он удивился такой новости.

— Уж не выиграла ли двести тысяч? — пошутил он.

— Нет, еду в Петербург.

— Без места?

— Без места... Попытать счастья...

— Ну, дай вам бог успеха... Вы способный молодой человек...

Сдача дел была недолга. Дела у меня были в порядке.

Через два дня я простился с маменькой и сестрой. Обе они горько плакали, только каждая из разных побуждений: мать просто жалела меня, а сестра хоронила меня.

Признаюсь, когда через трое суток я приехал в Петербург и в тот же день стал бродить по улицам большого города, в котором у меня не было ни одной души знакомых, какая-то тоска одиночества сжала мое сердце. Скоро, впрочем, это прошло, и не без гордости ходил я по улицам большого города. Оживление возбуждало мои нервы... Я взглядывал на роскошные дома, останавливался перед магазинами, с любопытством глядел на изящные экипажи, на лошадей, щегольски разодетых мужчин и дам. Мне нравились эта суэта и этот блеск большого города. Дамы казались какими-то красавицами, а мужчины такими ловкими и изящными.

Однако я время от времени щупал бумажник. Рассказы о петербургских мошенниках, слышанные мною на железной дороге, произвели на меня впечатление, и я со страхом думал, что было бы со мной в этом большом городе, если бы я вдруг очутился в нем без гроша денег? Но бумажник был на месте, и я снова бродил, и снова останавливался, и жадно

разглядывал красивые, изящные вещи, выставленные в магазинах.

Меня, впрочем, смущал мой костюм. Когда я сравнивал мое невзрачное платье с изящными костюмами гулявших по улицам франтов, мне делалось просто неловко, и я решил, что первым делом мне надо приобрести пару приличного платья и несколько белья. Платье в Петербурге — важная вещь. Я отложил покупку до другого дня и, скромно пообедав в какой-то кухмистерской, усталый от ходьбы, я крепко заснул в крошечной комнатке, нанятой мною поблизости от вокзала Николаевской железной дороги.

На другой день я был одет довольно прилично и искал меблированной комнаты. Комната, нанятая мною по приезду, была для меня слишком дорога. Я пересмотрел множество комнат, но большая часть из подходящих по цене не удовлетворяла меня. Уж слишком много было жильцов и слишком много шума. Наконец, после долгих поисков, я попал на подходящую комнатку в Офицерской улице, во дворе большого дома. Комнатка была, правда, крошечная, но чистенькая,

и, кроме меня, в этой квартире было только двое жильцов: какая-то дама и отставной генерал. Квартирная хозяйка, весьма недурная собой молодая блондинка, уступала мне комнату за десять рублей, но при этом прибавила, лукаво бросая на меня взгляд:

— Только, пожалуйста, чтобы у вас было тихо и чтобы к вам не ходили... дамы.

— О, будьте спокойны на этот счет! — отвечал я как можно серьезнее. — Я только что приехал, и у меня нет ни души знакомых.

— Вы в первый раз в Петербурге?

— В первый раз.

Молодая женщина еще раз оглядела меня с ног до головы и, показалось мне, на этот раз гораздо ласковее, точно, глядя на меня, она почувствовала сожаление.

«Неужели, в самом деле, я возбуждаю во всех только одно сожаление?» — опять пронеслось в моей голове, и я несколько резко спросил у молодой женщины:

— Так вы согласны принять меня жильцом?

— О, разумеется... Быть может, вы пожелаете у меня иметь и стол? Правда, стол у меня

простой, очень простой.

— Я привык к простому столу!.. — проговорил я и вдруг покраснел при этих словах.

Она взглянула опять, и я точно в ее взгляде прочитал:

«Вижу, вижу, молодой человек, что ты к хорошему столу не привык!»

— А какая цена?

— Восемь рублей.

— Согласен... Обед будут подавать ко мне в комнату?

— Как угодно... Угодно со мной обедать, а нет — обедайте одни...

— Я привык один!.. — отвечал я снова как-то резко, сердито взглядывая на молодую женщину.

— А вы не капризны?..

— Нет...

Я отдал задаток, в тот же вечер перебрался в новое помещение и за чаем делал выписки из газетных объявлений. Со следующего дня я решил приняться за поиски работы.

«Требуется молодой человек в качестве домашнего секретаря». «Ищут чтеца к престарелой даме». «Желают иметь молодого человека

для занятий с детьми». «Требуется конторщик для переписки». Из массы объявлений о предложении я на этот раз выудил только четыре более или менее подходящих спроса. Разумеется, я далек был от мысли сделать себе профессию из какого-либо подобного занятия (иначе стоило ли приезжать в Петербург?), но как подспорье я не прочь был иметь какое-либо подходящее занятие, которое дало бы мне возможность не проживать сделанных мною сбережений. Я сосчитал свои капиталы. У меня оставалось всего двести рублей. Надо было вести дела свои аккуратно. В свою очередь, я сочинил объявление такого рода:

«Молодой человек, 23 лет, приехавший из провинции, кончивший курс, ищет занятий в качестве учителя, секретаря или бухгалтера».

Я отнес объявление в две газеты и затем пошел по объявлениям.

Первым стояла «престарелая дама, ищущая чтеца». Престарелая дама жила недалеко, и я отправился к ней. Большой дом. Швейцар у подъезда.

— Где четырнадцатый номер квартиры?

— Вы наниматься... по объявлению, что

ли? — ответил швейцар, оглядывая меня.

— Да.

Он как-то странно посмотрел на меня и заметил:

— В четвертый этаж идите, только знаете ли что? Напрасно будете подниматься. Она вот уже месяц публикует, и только ковер на лестнице портят... Никто не идет. Много тут перебивало разного народа...

— Отчего же это никто не идет?

— А барыня-то уж очень требовательная... А то ступайте, сами посмотрите... Многие так ходят... Пойдут, посмотрят и возвращаются назад, будто из театра... Смеются.

Меня заинтересовала эта старуха, и я пошел в четвертый этаж.

Позвонил — никто не отворяет. Позвонил другой раз... Наконец послышались шаги, и на пороге появился старый лакей.

— Вы чтец?

— Да... по объявлению...

Лакей тоже странно на меня посмотрел, лениво принял мое пальто и повел в комнаты.

Мы прошли через несколько парадных

комнат и остановились перед запертой дверью.

— Вы подождите здесь, я пойду доложу!.. — проговорил лакей. — У вас сапоги не скрипят?..

— Нет, кажется...

— То-то... Она терпеть не может сапогов со скрипом!.. — прибавил совершенно серьезно лакей, после чего осторожно отворил дверь и скрылся.

Мне пришлось прождать минут с десять. В то время как я ждал, из других дверей вышла какая-то пожилая женщина, прошла мимо, бросив на меня внимательный взгляд, кивнула на мой поклон и вернулась в ту же дверь. Затем прибежали три маленькие собачонки в пополах, стали было лаять, но горничная, вошедшая вслед за ними, поторопилась увести их, поглядев на меня, как мне показалось, не без сожаления.

— Пожалуйста! — проговорил лакей, появляясь около меня.

Он отворил двери. Сперва мы вошли в роскошно убранную гостиную, а оттуда в небольшую полутемную комнату, где в большом от-

кидном кресле полулежала закутанная пледами какая-то женщина. В комнате было душно и накурено чем-то ароматическим. Из соседней комнаты раздавались звуки фортепиано...

Лакей скрылся. Я остался один.

— Подойдите поближе! — тихо проговорила та самая пожилая женщина, которая давеча разглядывала меня в зале.

Я подошел и тогда только разглядел существо, лежавшее в кресле. Это была старая-престарая и очень некрасивая старуха с маленьким узконосым детским личиком, в белом чепчике с сиреневыми лентами. На лице ее толстым слоем лежала пудра, отчего безобразное ее лицо казалось еще страшней, а небольшие глаза, глубоко сидевшие в темных ямах, казались совершенно безжизненными, стеклянными глазами.

Она высвободила свою руку из-под одеяла и устала на меня лорнет.

Несколько секунд длилось молчание. Она что-то опять сказала пожилой даме, и та снова тихо попросила меня подойти поближе. Я подошел почти вплоть к старухе. Она продол-

жала оглядывать меня, точно какую-то редкость. В это время в соседней комнате замолкли звуки фортепиано, и прямо против меня слегка скрипнула дверь. Я взглянул в ту сторону. Из дверей выглянуло прелестное, молодое женское личико, но тотчас же скрылось.

— Вы чтец? — наконец проговорила каким-то глухим голосом старуха, не опуская лорнета.

— Да.

— Вам сколько лет?

— Двадцать три года.

— Вы студент?

— Нет. Я кончил только курс в гимназии.

— Вы читали когда-нибудь больным?

— Читал, — храбро соврал я.

— Ведь это скучно, очень скучно, — заметила старуха, и на лице ее промелькнуло нечто вроде улыбки. Потом, помолчавши, она сделала мне какой-то жест рукой.

— Садитесь, — подсказала мне пожилая дама, заметив, что я не понял жеста.

Я сел на низенькую маленькую табуретку, обитую шелком, так что старуха, лежа в своем кресле, могла отлично меня видеть.

— Вы не нигилист? — снова начала она свой допрос.

— Нет.

— Вы в господа бога веруете?

— Разумеется.

— Это похвально, молодой человек... Нынче так мало веры... Кто ваши родители и что вы делали до сих пор? Расскажите-ка нам откровенно... Все по порядку. Я люблю слушать задушевные истории.

Я понял тогда, почему от этой старухи убежали все, приходившие по объявлению, но я решил испить чашу до дна. В моем положении приходилось спрятать самолюбие в карман.

«Кто знает, — мелькнула у меня мысль, — может быть, я понравлюсь старухе, и она мне поможет устроить карьеру. Такие примеры были. Она, должно быть, очень богата. Жить ей недолго. Чем судьба не шутит! Такие старухи капризны». Я вспомнил при этом случай, бывший в нашем губернском городе, как одна больная, богатая старуха оставила после смерти десять тысяч одному молодому человеку, приходившему играть к ней на форте-

пиано.

Эти мысли быстро пробежали в моей голове, как снова напротив меня чуть-чуть приотворились двери, и из щели показалась пара сверкающих черных глаз и маленький, слегка вздернутый, розовый носик.

Несмотря на мое благоразумие, глаза эти, признаюсь, смутили меня, и, подите ж, в то же мгновение все мои фантазии относительно старухи разлетелись; мне в это время хотелось только узнать: кто такая эта девушка, заглядывавшая в щелку? и непременно увидеть ее... увидеть во что бы то ни стало.

Я был молод, и мне было простительно на минуту увлечься самым глупым образом.

Однако пора было начинать исповедь перед старухой. Она уже ждала. Глаза снова скрылись, но кто знает, не будет ли у меня, кроме двух, еще и третья слушательница?.. Это меня несколько смущало.

В коротких словах я рассказал, кто были мои родители (дворянское происхождение, видимо, произвело на мою старуху благоприятное впечатление), почему я не мог поступить в университет и как приехал в Петер-

бург приискивать себе занятия. Я рассказал все это просто, но не без достоинства. Мысль, что меня, быть может, слушают за дверьми, заставляла меня избегать трогательных мест, которые бы оттеняли способного прекрасного молодого человека, служащего единственной опорой матери и сестре. Этот вопрос я обошел, ограничась только легким, хотя и довольно прозрачным намеком.

Рассказ мой произвел, по-видимому, очень благоприятное впечатление.

— Бедный молодой человек! — проговорила старуха, снова лорнируя меня. — У меня тоже был сын... ему бы теперь было...

Она задумалась и заморгала глазами, точно собираясь плакать.

Пожилая дама поднесла ей к носу флакон с солями и заметила:

— Ипполиту Федоровичу было бы теперь тридцать лет...

— Ах, да... тридцать... И какой славный молодой человек!..

Опять нюхание солей.

— А вы по-славянски читать умеете?

— Умею.

— Ну и хорошо. Вы мне понравились, молодой человек. Как вас зовут?

— Петром Антоновичем.

— А ваша фамилия?

— Брызгунов.

Мне показалось, что она поморщилась, когда я сказал свою фамилию. Действительно, моя фамилия была какая-то странная; мне она самому не нравилась... «Брызгунов»... Очень уж как-то звучит скверно.

— Я вас буду, молодой человек, звать Пьером... Вы позволите?

И, не дождавшись ответа, старуха обратилась к пожилой даме:

— Кто у нас Пьер был?.. Ах, я опять забыла... напомните мне, Марья Васильевна.

— Пьер?.. Да племянник ваш, княгиня, Пьер...

— Вот вспомнила! — с неудовольствием перебила старуха. — Нашли кого вспомнить!.. Я его в дом не пускаю, а она... Вы нарочно, кажется, хотите меня раздражать... Кто же у нас Пьер, ну?..

— Крестник ваш, княгиня...

Старуха замотала капризно головой.

— Еще Пьер Ленский, сын Антонины Алексеевны.

Старуха заморгала глазками. Марья Васильевна в смущении снова поднесла флакон с солями.

— Ах, вы меня совсем не жалеете... Каких это вы все Пьеров вспоминаете?..

Она озабоченно стала припоминать, и вдруг лицо ее оживилось.

— Ну, вот вы не могли вспомнить, а я вспомнила. Помните, у покойного мужа комнатный мальчик был... славный такой... мы его Пьером звали...

Через минуту старуха забыла уже Пьера и, обратившись ко мне, заметила:

— Я вас беру, молодой человек, к себе чтецом. О времени и об условиях с вами переговорит Марья Васильевна... Я вас не обижу...

Она кивнула головой. Я поклонился и вышел из комнаты. Вслед за мной вышла и Марья Васильевна. Условия были следующие: приходиться читать от семи до девяти часов вечера, за это предлагалось тридцать рублей.

Я согласился. О подробностях Марья Васильевна обещала поговорить впоследствии.

— Вы понравились княгине, — проговорила эта женщина, ласково взглядывая на меня. — Постарайтесь же оправдать ее доверие. Завтра приходите в половине седьмого.

Когда я уходил, в комнате раздался шелест. Я обернулся и мельком увидел красивую молодую девушку, выглядывавшую из дверей.

Я был на пороге, когда до меня донесся ее голос:

— Неужели он согласился?

— Да! — тихо отвечала Марья Васильевна.

В голосе девушки было столько изумления, что я обернулся, но ее уже не было в комнате.

Старый лакей проводил меня до прихожей и взглянул на меня с удивлением.

— Поладили? — спросил он.

— Да.

— Удивительно!..

И швейцар изумился, что я так долго был наверху, и, когда я дал ему гривенник и объявил, что буду приходить каждый день читать старухе, он не мог скрыть своего изумления и проговорил:

— Чудеса!

От старухи я пошел на Сергиевскую улицу к господину, желавшему иметь «способного секретаря»...

Успех моих первых шагов в Петербурге радовал меня, и я шел в Сергиевскую бодрый и довольный, в полной уверенности, что неглупому человеку нельзя пропасть в большой столице.

IV

Я скоро отыскал дом, указанный в объявлении. Швейцар заметил, что генерал живет во втором этаже, и при этом прибавил:

— Только вряд ли вас, господин, примут... Генерал очень занят...

— Однако в газетах объявлено, что его можно видеть до трех часов.

— Так вы по объявлению?.. Попробуйте... Только едва ли!.. Генерал теперь пишет... Мне только что лакей ихний говорил...

Однако я все-таки поднялся во второй этаж и тихо позвонил у двери, на которой блестела медная дощечка с выгравированной на ней крупной славянской вязью: «Николай Николаевич Остроумов».

Лакей, отворивший мне двери, тихим голосом и как-то таинственно сказал мне, что «генерал очень занят и беспокоить его теперь нельзя».

— Но я пришел по объявлению...

— Вы бы лучше в другой раз...

— Да как же это?..

— Впрочем, подождите... Я посмотрю...

С этими словами лакей тихонько приотворил двери в кабинет, заглянул туда и, обратясь ко мне, сказал с особенной серьезностью:

— Пишет!.. А когда он пишет, то не любит, чтобы его беспокоили...

— Так я подожду.

— Разве подождать?.. Вы подождите в зале. Я выберу минутку и доложу.

Я вошел в залу. В зале, за двумя ломберными столами, сидели два военных писаря и что-то писали. Полная тишина была в большой комнате. Только слышно было, как шуршали перья по бумаге.

Я просидел так минут с пять, как через залу на цыпочках прошла дама с какой-то корректурой в руках и, не обращая на меня никакого внимания, остановилась у кабинета, осторожно приотворила двери, заглянула туда и отошла от дверей.

Я кашлянул. Тогда дама взглянула на меня, и я поклонился. Она подошла ко мне, серьезная, озабоченная, с корректурой в руке.

— Вам Николая Николаевича? — спросила она.

— Да-с... Объявляли в газетах...

— Ах, извините, пожалуйста... Сейчас муж вас принять не может... Он исправляет теперь корректуру... Жаль потревожить его... Уж будьте добры, подождите немного...

С этими словами она прошла в другие комнаты, а я снова сел.

Опять через залу прошла, тихо ступая, молодая девушка, тоже с корректурой в руках, так же осторожно заглянула в двери и так же осторожно отошла назад. По счастью, она обратила на меня внимание. Я поклонился молодой девушке. Она приблизилась ко мне.

— Я пришел по объявлению... Объявляли о домашнем секретаре... Нельзя ли увидеть генерала?

— Николай Николаевич теперь ужасно занят! — ответила она мне. — Впрочем, подождите.

Она снова приотворила двери, и на этот раз, слава богу, генерал, должно быть, заметил ее, потому что она вошла в кабинет, через минуту вернулась и попросила меня войти туда.

Я вошел в кабинет. За большим столом, на котором повсюду были разбросаны корректу-

ры, сидел нестарый генерал с озабоченным видом. Он протянул мне руку и, показывая на кресло, заметил:

— Извините, пожалуйста... Я, кажется, заставил вас ждать... Я так занят, так занят... До-читываю корректуру моей новой книги... Должна выйти к сроку... А доверить этого дела нельзя никому.

В эту минуту в кабинет вошла генеральша, некрасивая, добродушная на вид дама, извинилась, что на минутку, «на одну только минуточку», прервет нашу беседу, и, положив перед мужем корректурный лист, указала на одно место тонким, замаранным в чернилах пальцем.

— Послушай, мой друг... Я поставлена в затруднение. В этом месте у тебя написано...

И она прочла певучим, слегка вибрирующим голосом, с каким-то благоговением, точно читала священные строчки, следующее место:

— «И слезы благодарных, выносливых, простодушно-невинных русских солдат, этих чудо-богатырей родной земли, взбуровили тихое Чаганрыкское озеро. Оно запенилось,

почернело и словно подернулось трауром по храбром, неустрашимом герое, майоре Кобылкине, прах которого, заключенный в гроб, везли в это время на лодке истомленные горем солдаты...»

— А сбоку, мой друг, вариант такой:

«И зарыдали они, эти простодушно-девственные чудо-богатыри земли русской, христоролюбивые воины нашей родины. Зарыдали они, и капля по капле струились их слезы в тихие воды Чаганрыкского озера, вспенивая его черную пучину. И обыкновенно спокойный Чаганрык отуманился, почернел, как бы подернулся черным флером, отдавая последнюю дань праху безвременной жертвы, героя-болярина, майора Нижнеудинского пехотного полка Аркадия Петровича Кобылкина, моего старого добродея и соратника. Тихо плыла лодка по озеру с гробом, христоролюбцы рыдали, и, казалось, вместе с ними скорбел Чаганрык, плакало небо, и тихо грустили горные выси...»

Генеральша и это место прочла с тем же чувством и тем же дрожащим от волнения голосом. Когда она кончила, то взглянула на му-

жа с благоговейной любовью и восхищением, полная счастья. Потом она перевела взгляд и на меня, взглянув как-то торжественно, словно бы говоря своим взглядом: «Слышал ли ты когда-либо что-нибудь подобное?»

— Как же нам быть, Никс?.. Какой вариант оставить? По моему мнению, оба они так прелестны, так поэтичны, что если б ты спросил моего совета, я бы сказала: оставь оба.

Генерал задумался. Он восторженно устремил в пространство голубые глаза и несколько секунд пробыл в таком положении. Генеральша благоговейно замерла. В эту минуту в комнату заглянула молодая девушка и тоже замерла.

Наконец генерал опустил глаза на корректуру, тихо перечел, тоже нараспев, оба места и опять задумался.

— Ты как думаешь, Мари? Какое место лучше? — наконец спросил генерал.

— Ах, уж лучше не спрашивай, Никс. Я не могу отдать предпочтения. Первое сильнее, но зато во втором столько поэзии... столько поэзии...

— А ты, Наташа, какого мнения?

— По-моему, дядя, первое лучше. И второе хорошо, но первое... грандиозно! — проговорила, входя, девушка.

Генерал не решался.

— Это трудный вопрос! Я и сам в затруднении... А, впрочем, знаете ли, господа, что? Обратимся к постороннему судье. Мнение беспристрастного судьи будет самым верным. Что вы скажете, молодой человек?

Все взгляды обратились на меня. Я, признаться, не был приготовлен к такому исходу.

— Вы откровенно скажите... Не стесняйтесь, молодой человек!.. — поощрял меня генерал.

— По моему скромному мнению, первый вариант будет лучше! — проговорил я.

— А зато как грациозен второй!.. — вступилась генеральша.

— Не спорю, но в первом больше силы...

— Вот мы так и поступим... Оставим первый!.. — решил генерал, взял корректурный лист, перекрестился большим крестом и зачеркнул другой вариант.

Обе дамы ушли.

— Ну, теперь поговорим о деле, молодой

человек... Ваше имя?..

— Петр Антонович...

— У меня, Петр Антонович, работы пропасть... Жена и племянница помогают мне, но, кроме того, мне нужен секретарь, которому бы я мог излагать свои мысли, а он бы их записывал, так, вчерне... Окончательно отделывать, конечно, буду я сам... Могли ли бы вы взяться за это?

— Я бы попробовал...

— Вы где кончили курс?

— В Н-ской гимназии.

— Знаю... знаю... Там у меня директор приятель. Должен вас предупредить, Петр Антонович, что я требователен и люблю аккуратность в работе... У меня много перебывало молодых людей, но все как-то мы не сходились... Вот еще недавно: пришел один студент, довольно приличный на вид, взялся за дело, но мало того, что был не аккуратен, а еще фыркал, когда я приказал ему написать слово о спасении души, и отказался... По-моему, лучше не берись... Как вы полагаете?

Я согласился.

Генерал помолчал и потом неожиданно



прибавил:

— Вы извините... Один щекотливый во-
прос!..

— Сделайте одолжение!..

— Вы религиозный человек?.. Я вас позволил об этом спросить, — прибавил он, — потому что все наше семейство глубоко религиозно... Я, конечно, не смею насиловать ваших убеждений, но я бы не потерпел в своем секретаре атеизма, а эта болезнь, по несчастью, теперь свирепствует... Молодые люди забывают, что религия — единственная успокоительница.

Генерал стал говорить на эту тему и, между прочим, так и сыпал цитатами из Священного писания.

Я поспешил успокоить его.

— Занятия секретаря должны начинаться с девяти часов утра и продолжаться до трех... На вашей обязанности будет также переписка... Я веду переписку со многими лицами... Что же касается вознаграждения...

Генерал остановился и взглянул на меня.

— Как бы вы оценили свой труд?..

— Мне, право, трудно...

— Однако ж?

Я все-таки отказался. Отказ мой, видимо, не понравился генералу. Он поморщился и проговорил:

— Я тоже затрудняюсь... Работа ваша будет, конечно, незначительная... легкая, но все-таки... я не желал бы вас обидеть... Как вы думаете насчет двадцати рублей в месяц?..

«Ого! — подумал я. — Генерал из кулаков!»

— Мне кажется, — возразил я, — что за шесть часов работы плата эта не совсем достаточна.

— Но, молодой человек, ведь работа-то какая приятная... Вы будете при этом учиться... Ведь вам предстоит, можно сказать, редкий случай усовершенствоваться в стиле. Эта работа в вашем же интересе... Мы будем вместе прочитывать хорошие книги... Я буду делиться с вами идеями... Вы будете, так сказать, выразителем моих идей... Завтракать будем вместе, — прибавил он, еще раз внимательно оглядывая меня.

Я встал с места.

— Вы, кажется, находите, что предложенная мною цена мала?

Я отвечал, что, не имея никаких занятий, я не могу существовать на двадцать рублей. Тогда генерал обещал (если я оправдаю его надежды) похлопотать за меня и доставить мне

где-нибудь еще подходящее занятие, причем намекнул, что у него большие связи.

— Мне кажется, мы с вами сойдемся. Вы мне понравились.

Вообще он говорил таким тоном, будто одна честь работать с ним должна была осчастливить человека.

Я все-таки колебался.

— Ну, хорошо. Я предложу вам двадцать пять рублей. Надеюсь, теперь вы будете довольны, а пока я сделаю вам маленький экзамен.

И с этими словами он предложил мне написать письмо к какому-то архимандриту Леонтию, в котором следовало благодарить за присылку книг и трех бутылок наливки.

Я очень скоро написал письмо, и генерал остался письмом доволен, хотя и заметил, что слог мой недостаточно, как он выразился, «кристаллизован».

— Впрочем, — прибавил он, дотрогиваясь до моего плеча, — со мной вы скоро научитесь писать превосходно. Так я считаю, Петр Антонович, дело решенным?

— Извините, Николай Николаевич, — от-

ветил я, заметивши, что генерал остался очень доволен моим письмом, — но я бы попросил вас дать мне тридцать рублей по крайней мере. Вы увидите, как я работаю, и если работа моя вам понравится...

— Ну, нечего с вами делать. Извольте. Я согласен.

Он пожал мне руку и отпустил меня, снабдив брошюрами и книгами своего сочинения.

— Прочитайте-ка их дома, молодой человек, да читайте внимательно: вы кое-чему научитесь...

Когда я вышел от этого самодовольного дурака на улицу, то чуть было не рассмеялся, вспоминая все, что видел и слышал.

Хотя я и очень дешево взял, все-таки на первый раз это было не дурно. Главное, начало сделано. С первого же дня я получил занятия.

Голодный, усталый, я вернулся домой. Мне отворила дверь сама хозяйка. Сегодня она была лучше одета, вообще приукрасилась и показалась мне весьма и весьма хорошенькой.

— Что это вы так поздно, Петр Антонович? — заговорила она, приветливо улыба-

ясь. — Верно, проголодались? Где хотите обедать: у себя или со мной? Пойдемте-ка ко мне, а то одному вам, бедному, скучно будет. Вы ведь теперь сирота...

Я принял предложение. Мы обедали вместе и после обеда еще долго болтали. Хозяйка произвела на меня впечатление доброй, милой, но недалекой женщины. Она меня все жалела и интересовалась узнать, удачны ли были мои хлопоты, и когда я объявил, что сегодня же получил два места, то добродушно порадовалась за меня. Она весело болтала, угостила меня пивом и объявила, что я очень ей понравился своею скромностью. Она надеется, что я буду постоянным ее жильцом...

В тот вечер я заснул с самыми сладкими мечтами о будущем моем счастье.

Со следующего же дня я усердно принялся за исполнение своих обязанностей.

Ровно к девяти часам утра я приходил к Николаю Николаевичу Остроумову, работал у него до трех, затем шел домой и обедал с Софьей Петровной, моей квартирной хозяйкой, а вечером с семи до девяти часов читал у больной старухи. Дни проходили незаметно.

Занятия мои у генерала были крайне разнообразны. Я сочинял письма к разным лицам, преимущественно духовного звания (Остроумов вел с ними большую переписку), составлял с его слов различные проекты и записки, писал под диктовку и слушал чтение его статей. За тридцать рублей вознаграждения Николай Николаевич наваливал работы и, конечно, убежден был, что честь быть его секретарем сама по себе составляет великое счастье.

Вообще, генерал мой был очень оригинальный генерал. Он имел страсть к сочинительству, считал себя необыкновенно умным человеком, был самодоволен, ужасно самолю-

бив и наслаждался поклонением, которым его окружали близкие люди. Нередко я с трудом сохранял серьезный вид, когда он, бывало, прочтет мне одно из своих произведений, кончит и спрашивает:

— Поняли, молодой человек?..

И при этом так смотрел, будто оценить удивительный сумбур, который лез к нему в голову и который он считал долгом излагать на бумаге, могли только избранные люди.

Своим произведениям Остроумов придавал огромное значение. Он исписывал ворохи бумаги и писал обо всем, что приходило в его голову. Он сочинял темы для проповедей, писал статьи об увеличении благочестия между образованными классами измышлял проекты против наводнений, составлял записки о новых железнодорожных линиях, занимался жизнеописанием какого-нибудь героя прошлых войн, изучал вопрос о древнецерковном одеянии, писал советы архиереям, трактовал об учреждении новых учебных заведений для благородных девиц и заготовлял речи, которые произносил потом на торжественных обедах «экспромтом».

Словно готовясь начинать священнодействие, генерал удалялся в кабинет и на пороге замечал: «Я приступаю; не мешайте мне». После этих слов в квартире водворялась торжественная тишина. Все, начиная с прислуги и кончая генеральшей, ходили на цыпочках и говорили вполголоса, боясь потревожить сочинителя. Два писаря, по обыкновению, безмолвно переписывали превосходнейшим почерком какие-то необыкновенно длинные записки, предназначавшиеся вниманию высокопоставленных лиц, и изредка осторожно пробирались в кухню покурить. Добродушная, некрасивая генеральша смотрела на мужа с каким-то благоговейным восторгом. По ее мнению, это был гений и святой человек. Всегда с замаранными в чернилах пальцами, она то и дело чуть слышно отворяла двери кабинета и заглядывала в него, выбирая минутку, когда она посмеет оторвать внимание своего мужа, чтоб разъяснить ее недоразумение насчет какого-нибудь выражения в корректуре. Молодая племянница, недурненькая девушка лет двадцати, разделяла с женой обожание к дяде и тоже все утро проводила за

корректурами, изредка заглядывая в кабинет. Все домашние в эти часы словно были пришиблены. У всех лица были торжественные, и все говорили шепотом. А виновник культа в это время сидел за своим большим письменным столом и, откинув назад лысую голову, погружен был в думы, потя над обработкой какого-нибудь выражения поцветистее и пофигурнее...

— Николай Николаевич заняты; они пишут, — таинственно докладывал лакей какому-нибудь гостю, и лицо лакея в это время было необыкновенно серьезно и даже страдальчески-озабоченно, точно и он вместе с генералом разделял муки авторского творчества.

— Ах, тише, тише! — произносила шепотом генеральша, если кто-нибудь у кабинета возвышал голос. — Мой ангел занят; он пишет.

Генеральша звала генерала «ангелом», а генерал звал генеральшу «херувимом». Я прежде думал, что это они шутя называли так друг друга, но потом убедился, что у них было обыкновение обмениваться этими нежными

именами. Придет, бывало, генеральша в кабинет и скажет:

— Ангел мой, ты слишком утруждаешь себя!

— Что делать, херувим мой! Завтра я должен читать записку у министра.

— Никс, Николаша, голубчик, отдохни!

— Мари, родная, не могу.

Так, бывало, проворкуют эти два голубя, и снова в кабинете тишина; я нагибался ниже над своим столом и кусал губы, чтоб не рассмеяться.

Замечательно, что Николай Николаевич Остроумов никакой службы не нес и не получал никакого жалованья, числясь при какой-то особе. Несмотря на то, что по службе он не имел никакой определенной должности, Остроумов все-таки умел себе приискать множество самых разнообразных занятий: был членом многих обществ, устройтелем «истинно русского кружка для обращения инородцев», считался инициатором большой проектировавшейся железной дороги, которую всегда называл «моя дорога» или «истинно патриотическая дорога», помещал изредка

передовые статьи в газетах и говорил экспромты при торжественных случаях. На другой же день он сам отвозил в редакции газет свои речи для напечатания, сердился, если его экспромты не принимались, и замечал: «Совсем слепцы эти редакторы! Не понимают, что вся Россия должна слышать мои речи».

Жил он очень хорошо; водил знакомство с людьми значительными; квартира была большая, превосходно обставленная, держал лошадей и много прислуги, но источников его средств решительно никто не знал. Меня крайне интересовал этот вопрос, и я впоследствии не раз пытался разъяснить его, но все мои попытки не привели ни к чему. Одни говорили, что генерал кругом в долгах; другие — что он «проводит железную дорогу» и получает за это от купечества, заинтересованного дорогой, крупные деньги; третьи — что у него есть тетка, которая будто бы помогает ему...

Во всяком случае, средства моего патрона были для меня загадкой, а между тем он жил превосходно и иногда задавал обеды, на которых бывали очень влиятельные люди. С ним

обходились ласково, хотя отчасти и третировали моего генерала, как шута горохового, но он довольно умно не замечал этого и как будто нарочно старался еще более оправдать это название.

Тем не менее этот «гороховый шут» жил в свое удовольствие.

В молодости он, как мне рассказывали люди, хорошо его знавшие, был большой руки хлыщ и враль. Он служил тогда в провинции, ничего не делая, всегда нуждался в деньгах, умел развлекать дам, классически занимал деньги и был находчив, но литературой тогда, говорят, не занимался и дорог не проводил. После Крымской кампании он перебрался в Петербург и обратил на себя внимание какой-то необыкновенно горячей патриотической речью за обедом. В Петербурге он остепенился, стал тереться во всех обществах, сделался религиозным человеком, начал писать записки и проекты, приобрел друзей и купечестве и выставлял религиозность свою напоказ. Одни считали его за шута горохового, другие — за умного человека, имеющего связи. А связи эти он умел показать, как ловкий

купец «товар лицом». С тех пор Остроумова знают как человека, у которого превосходный повар, отличный дом и много связей. Жалованья он все-таки не получал, но все сознают, что такого богомольного, нравственного, «истинно русского» и преданного России человека не сыщешь.

А сдается мне, что Остроумов — шельма порядочная. Он хоть и не умен, а ловок; по-своему, впрочем, и умен, потому что из своей литературы составил себе положение. Относительно религиозности тоже сдается мне, что он морочит публику, но морочит теперь, надо думать, совсем искренно. Напустил он на себя ханжество, и так оно въелось в него, что теперь уже не отличишь, что тут правда и что обман.

Существование Остроумова продолжало быть для меня загадкой. Правда, в Петербурге, как я слышал, много загадочных существований, но в конце концов не с неба же падали к нему средства.

Я Николаю Николаевичу очень понравился. Он был очень ласков со мной, иногда даже удостоивал откровенных бесед, главным об-

разом на тему о том, что он — умный человек и несомненных государственных способностей, а терпит, и что, следовательно, мне, молодому человеку, тоже следует терпеть. Надо заметить, что я ему ни на что не жаловался, и, вероятно, он говорил о моем терпении более для округления речи. Кроме того, любимым коньком его было говорить о недостатке благочестия в молодых людях.

— Веры нет, оттого и сомнения лезут в голову. Вы, Петр Антонович, теперь, надеюсь, изменились, а? — шутливо трепал он меня по плечу. — У вас теперь настоящий взгляд на вещи? Молитесь вы, голубчик, богу?

— Молюсь.

— То-то. Молитесь и терпите, и бог за все вам воздаст сторицей.

Однако сам-то он воздавал за мои труды далеко не сторицей. Насчет этого он был крепкий человек. Работы на меня он наваливал по мере того, как я ему более нравился. Месяца через два он стал давать мне столько работы на дом, что я едва справлялся. Тем не менее я аккуратно исполнял все, что только он мне не поручал, решившись ждать и вос-

пользоваться его связями и знакомствами.

Как кажется, он считал меня трудолюбивым, усердным малым, способным только на черную работу, и не замечал, что я нередко писал ему докладные записки собственного сочинения, а он с обыкновенной наивностью еще за них похвалял меня.

— Хорошо, прекрасно, молодой человек. У вас слог кристаллизуется, и вы совершенно верно воспроизводите мои мысли. Маленькая поправка, — и ваш труд прекрасен... Прочти, мой херувим, — обращался он к супруге. — как точно Петр Антонович изложил мои мысли.

И «херувим» (далеко, впрочем, не похожий на херувима) вскидывал свои глаза и переносил на меня частицу обожания к мужу за то, что «Никс» хвалил меня.

— Петр Антонович прекрасно пишет, Никс, с тех пор как стал работать под твоим наблюдением.

— Наташа, дружок, прочти и ты!

Подлетала племянница и говорила, что прочтет, и тоже считала долгом сказать мне ласковое слово.

А я стоял молча и про себя таил злость, глядя на такое наивное нахальство.

До времени мне не было никакого резона расходиться с Остроумовым, хотя работы было и порядочно. Изредка я обедал у него, а месяца через два получил даже приглашение заходить, когда вздумается, «поскучать по вечерам».

— Боже сохрани вас, молодой человек, ходить по клубам, — внушительно заметил при этом Остроумов, — вы еще очень молоды, и вам надо быть в семейных домах... Только семья сохранит вашу... вашу неиспорченную натуру.

«Херувим» подтвердил слова генерала. Вообще «херувим» был эхом «ангела». Что ангел скажет, то херувим непременно повторит.

Я иногда заходил по вечерам к генералу. Сам он редко бывал дома, и мы просиживали вечера втроем. Обыкновенно генеральша говорила о муже, и скука была страшная. Племянница со мной чуть-чуть кокетничала, когда не было другою мужчины, и это меня бесило. В самом деле, точно я был куклой для этой дуры!

Я предпочитал заходить к ним по вторникам, когда у них бывали Рязановы, муж и жена. Жена — молодая, красивая барыня, веселая, кокетливая и приветливая, а муж, некрасивый человек лет сорока, с умным, строгим лицом, как говорили, готовился делать блестящую карьеру. Он изредка заезжал с женой к Остроумовым по вторникам. Признаться, мне очень хотелось попасть на службу к Рязанову. Он был человек несомненно умный и не обратил бы внимания, что у меня нет чина. Главное, увидел бы он, как я могу работать. Но он, разумеется, не обращал на меня ни малейшего внимания. Я сидел около дам, скучал, злился и изредка удостоивался небрежно-ласковых взглядов блестящей, красивой дамы, точно она хотела сказать: «Бедненький, как тебе, должно быть, неловко в нашем обществе!»

Раз только я пристально на нее посмотрел и заметил, как сперва она поправила волосы, потом взглянула на меня, но, вероятно, мой взгляд показался чересчур странным или дерзким, потому что она тотчас же с неудовольствием отвела глаза, словно изумляясь

дерзости ничтожного молодого человека, осмеливающегося разглядывать ее.

А я назло не спускал с нее глаз...

В такие минуты я испытывал муки оскорбленного самолюбия. Мне хотелось скорей уйти, но я нарочно оставался и дразнил еще себя:

— Оставайся... Испытывай унижение на каждом шагу...

Я ненавидел этих дам и сидел в углу гостиной, одинокий, с затаенной злостью в сердце. Никто, разумеется, не обращал на меня внимания. Должно быть, уж очень вид мой был страдальческий, так как вдруг «херувим» почувствовал ко мне сострадание. Генеральша повернулась и мою сторону и ласково заметила:

— Молодой человек, что это вы забились в угол?.. Присядьте поближе к нам!

Я послал в душе эту даму к черту, присел поближе, пробовал вмешаться в общий разговор, сказал какую-то чепуху и сконфузился. В этот вечер я скоро ушел домой, сославшись на нездоровье.

По обыкновению, Софья Петровна поджи-

дала меня. Когда я позвонил, она встретила меня радостно и, взглянув на меня, ласково промолвила:

— Сегодня вы раньше пришли... Что с вами? Вы такой мрачный?

— Ничего!..

— Как ничего?! Посмотрите-ка на себя!

— Да вам-то что? — раздраженно остановил я ее сочувствие.

Софья Петровна смутилась и как-то испуганно, кротко взглянула на меня.

— Я так... — пробормотала она робко. — Вы, быть может, закусить хотите? Я оставила вам котлетку и горячего чаю.

— Нет, благодарю вас. Я спать хочу.

И, холодно простившись, я ушел в свою комнату.

Добрая женщина была Софья Петровна, но только недалекая и простая. Она, шутя, называла меня сироткой, всегда была необыкновенно ласкова и оказывала самое трогательное внимание. Заботилась она обо мне, точно о ребенке. Сама чинила мое белье, входила в мои интересы, украшала мою комнату то новенькими занавесками, то купленным по слу-

чаю письменным столом взамен старого. И когда я благодарил за все это внимание, молодая женщина как-то конфузилась и говорила, что она старается, чтобы жильцу было хорошо.

Мы с ней обыкновенно обедали вместе, и после обеда она весело болтала разный вздор. Она была очень недурна собой и, заметил я, в последнее время очень наблюдала за своим туалетом. Прежде, по вечерам, ее никогда не бывало дома: она любила Александринский театр и часто ходила туда или бегала к знакомым, но месяца через два после того, как я поселился у нее, молодая женщина стала домохозяйкой, сидела по вечерам дома и поджидала меня, чтобы вместе пить чай, когда я возвращался от старухи. Она верила в мою звезду, хвалила мой образ жизни, рассчитывала, что я со временем получу хорошее место и, шутя, называла бирюком... Она, конечно, и не догадывалась, с какими целями я приехал в Петербург, и простодушно радовалась, что я так скоро устроился и мог зарабатывать шестьдесят рублей в месяц.

Обыкновенно за чаем она расспрашивала

меня о молодой девушке, которую я изредка видел у старухи, и расспрашивала все чаще и чаще, подробней и подробней: какая она, хороша ли, нравится ли мне и т.п.

Я, конечно, ограничивался короткими ответами, говорил, что мне до молодой девушки нет никакого дела, а Софья Петровна радостно похваливала меня за это и весело замечала:

— Ну, разумеется, таким бедным людям, как мы с вами, нечего связываться с богачами.

И снова принималась весело болтать и угощать меня чаем и булками с маслом.

VI

Я бессовестно лгал ей, когда говорил, что мне нет никакого дела до той молодой девушки, которую я встречал у княгини. Напротив, эта девушка очень меня заинтересовала, и, когда я встречался с нею, у меня как-то сильнее билось сердце, я замирал, и долго потом образ ее преследовал меня. Меня это злило. Я сознавал, что Софья Петровна, с своей точки зрения, была права, когда говорила, что «бедным людям нечего связываться с богачами», но мне в то время было двадцать три года, а девушка была такая красивая, изящная и гордая... И отчего ж я не смел даже молча любоваться ею?.. Разве оттого, что я нищий?.. Но кто же мешает мне не быть нищим?.. Я за эти два месяца кое-чему научился и увидел, что не боги же обжигают горшки и что не так трудно пробиться неглупому человеку, поставившему себе целью завоевать у судьбы положение... Я видел ничтожных и глупых людей, имевших и состояние и положение... Чем же я хуже других?

Такие мысли нередко приходили мне в го-

лову, когда я шел к старухе, приодевшись как можно лучше и опрятней. Обыкновенно около старухи сидела пожилая компаньонка и весело улыбалась моему приходу, так как ни дня часа она избавлялась от капризов больной и придирчивой старухи. Я присаживался на кресле перед маленьким столиком, на котором стоял графин воды и лежала раскрытая книга. Старуха кивала на мой поклон головой и, обыкновенно, таким же движением давала мне знать, что я могу начинать. Я читал ей «Русскую старину», «Русский архив», романы в журналах и книги духовного содержания. Чтение мое, как кажется, нравилось, потому что старуха, обыкновенно, внимательно слушала и не замечала, как при начале чтения компаньонка ее, Марья Васильевна, незаметно ускользала из комнаты, и мы оставались вдвоем с барыней. В небольшом будуаре, где она постоянно лежала в креслах, было до того накурено разными духами, что под конец чтения у меня всегда разбалчивалась голова.

Моя старуха, княгиня Надежда Аркадьевна Синицына, была очень богатая женщина, вдова помещика и, как рассказывала мне Марья

Васильевна, страдала параличом ног лет восемь. Она лечилась везде, где только было можно, ездила на Кавказ, провела несколько лет за границей, но не поправилась и решила более никуда не выезжать. Она была раздражительна, капризна и мучила всех окружающих, за исключением внучки, которую любила без памяти и которая не подчинялась капризной старухе.

Эта внучка и была та молодая девушка, о которой я упоминал раньше.

Во время чтения старуха тихо выбивала такт маленькой сморщенной рукой по ручке кресел и иногда останавливала меня, чтоб я не торопился или читал с большим чувством сцены романического содержания.

— Ах, так нельзя! — тихо останавливала она меня. — Так нельзя, мосьё Пьер (она меня так и называла мосьё Пьер)... Вы недостаточно вникли в положение действующих лиц. Ведь она обманута этим негодным человеком. Она страдает... Ей тяжело... Голос у нее должен прерываться, а вы прочитываете это, точно дело идет о каких-нибудь пустяках.

Старуха, насколько могла, увлекалась при

этом, и из ее темных впадин блистал в глазах слабый огонек.

— Прочтите еще раз это место...

Я беспрекословно повиновался.

Случалось, что ей надоедал роман, и она просила меня читать послания св. Иоанна Златоуста или проповеди Иннокентия. У нее был очень странный вкус. Старуха любила слушать скабрзные сцены в романах, описание страданий любящих сердец, жития святых и душеспасительные проповеди.

Во время этих чтений старуха нередко устанавливала на меня лорнет и не спускала с меня глаз. Я чувствовал ее взгляд и не отрывал взгляда от книги. В девять часов обыкновенно приходила Марья Васильевна; старуха кивала головой и, когда я собирался уходить, говорила:

— Спасибо вам, добрый мой. Развлекли вы старуху. Сегодня вы очень хорошо читали!

На другой день мне приходилось иногда рассказывать вкратце содержание прочитанного, так как старуха забывала и не раз капризно перебивала меня:

— Пойдите, пойдите, Пьер... Кто кого лю-



бит? Расскажите сперва мне. Я что-то не помню.

Я рассказывал и затем снова читал, прислушиваясь, не пронесется ли знакомый ше-

лест платья и не войдет ли молодая девушка. Иногда она входила во время чтения, целовала бабушку, собираясь в театр или в гости, а то просто заходила, присаживалась и слушала.

Тогда я читал как-то лучше. Голос мой раздавался сильнее и тверже. Сцены выходили живей. Мне хотелось читать при ней хорошо, и я чувствовал, что читаю действительно с чувством. Она на мои поклоны слегка кивала головой и, казалось мне, смотрела на меня с каким-то великодушным снисхождением. Иногда я подымал глаза, чтобы взглянуть на нее, и тотчас же опускал глаза на книгу, чувствуя к этой девушке и невыразимое обожание, и ужасную злобу.

А она была очень хороша: стройная, грациозная, словно вся выточенная, брюнетка, с тонким профилем прелестного лица, главным украшением которого были большие, черные, блестящие глаза. Чуть-чуть вздернутый носик и приподнятые углы губ придавали ее лицу надменное выражение. Глаза смотрели серьезно и обличали характер. Гладко зачесанные назад черные волосы мо-

ложавили ее лицо, придавая ему что-то детское. Нередко она задумывалась и тогда казалась какой-то суровой богиней красоты. О чем она задумывалась? Что мучило ее молодую головку? Какие вопросы решала эта красавица, единственная наследница миллионного состояния?

Точно желая отвязаться от мучивших ее сомнений, она слегка откидывала назад голову и весело иногда болтала с бабушкой. Она, видимо, любила старуху и одна только могла успокоить ее, когда та уже очень капризничала.

Мною не стеснялись. На меня, очевидно, глядели как на случайную мебель, и потому нередко при мне заводили такие разговоры, словно бы, кроме бабушки и внучки, никого не было в комнате.

Я прекращал чтение и дожидался конца.

— Продолжайте, мосьё Пьер! — обыкновенно замечала старуха.

— Разве его, бабушка, зовут мосьё Пьером? — спросила однажды девушка слегка дрожащим голосом, причем верхняя губа ее вздрогнула и ноздри раздулись, точно у степ-

ной лошади.

Я наострил уши. Сердце у меня забилось.

— Я так его называю, Катя... Короче. Мосьё Пьер так добр, что не обижается на больную старуху. Правда, мосьё Пьер?

Я взглянул на молодую девушку и заметил устремленный на меня взгляд, полный презрения. Она, впрочем, тотчас же отвернулась.

— Ведь вы не обижаетесь? — повторила старуха.

— Нет! — глухо прошептал я и стал читать.

Я читал, как теперь помню, роман Стендаля «Черное и белое». Положение героя романа напоминало мое собственное. Бедный энергичный молодой человек, без средств, без положения, пробивает себе дорогу и делается любовником молодой знатной девушки, которая сначала презирала его.

Помнится мне, я читал с каким-то особенным наслаждением. Я, видимо, сочувствовал герою и принужден был сдерживать злобно-торжествующее чувство, готовое вырваться из моей груди. Я читал, вероятно, превосходно, потому что старуха уставилась на меня, а молодая девушка замерла. Я и сам забыл,

что читаю по обязанности. Я помнил только, что я сам в таком же положении, и восторгался этим романом, в котором как бы нашел отклик на волнующие меня чувства.

На маленьких часах пробило уже девять часов, в комнату вошла Марья Васильевна, но я не обращал ни на что внимания и продолжал читать, с особенным чувством прочитывая те сцены, где герой являлся торжествующим.

Меня не прерывали; впрочем, может быть, и прерывали, но я не слышал. Я перестал только тогда, когда Марья Васильевна громко сказала:

— Довольно, довольно, Петр Антонович. Княгиня просит вас перестать.

Я остановился, взглянул вокруг растерянным взглядом и отодвинул книгу.

— Вы, мосьё Пьер, сегодня превосходно читали и даже увлеклись до того, что не заметили, как я вас несколько раз просила окончить, — проговорила старуха ледяным тоном. — Вам, верно, понравился роман? Герой его — порядочный негодяй!

Я ни слова не сказал, поклонился всем и,

шатаясь, вышел из комнаты. Когда я уходил, мне послышалось, что молодая девушка проговорила:

— Вы, бабушка, хоть бы чаю ему предложили!

Вслед за тем Марья Васильевна догнала меня и попросила вернуться.

— Мосьё Пьер... Оставайтесь... Сейчас будем чай пить... Вы сегодня запоздали! — проговорила старуха.

Я поблагодарил, отказался и снова вышел из комнаты.

— Странный молодой человек! — прошептала старуха, не стесняясь, что я могу ее слышать.

Когда я вышел на улицу, меня душила злоба, и слезы полились из глаз.

VII

В начале одиннадцатого часа я вернулся домой, раздраженный и злой. Вошел в свою конуру, гляжу: на письменном столе, вместо прежней гадкой лампы, стоит новая, и неясный свет мягко льется из-под светло-синего колпака. Это был новый сюрприз моей хозяйки.

Я присел на кресло, как через несколько минут меня окликнула наша кухарка.

— Вам что?

— Чай пить будете?

— Давайте, пожалуйста.

— Сюда самовар вам?

— Сюда.

— А то ступайте к барыне. Она сама еще не пила. С девяти часов вас дожидается. Два раза самовар грела. Одной пить тоже скучно.

Я пошел в комнату Софьи Петровны.

Большая комната моей хозяйки сияла приветливостью и домовитостью. Все в ней было необыкновенно уютно и мило. На столе весело шумел блестящий самовар и сияла большая лампа, бросая яркий свет на всю обста-

новку. Мягкая светленькая мебель, цветы на окнах, олеографии в рамках, альбомы и безделушки, расставленные на столах, все блестело свежестью и чистотой, и все было у места. В углу стояла большая, пышная постель, скрытая от глаз безукоризненно чистым кисейным альковом. Входя в эту комнату, вы сразу чувствовали, что попали в гнездо аккуратной и опрятной хозяйки. Вас так и охватывало приятное чувство порядка и домовитости и располагало отдохнуть в этой комнате. Потому-то я, признаться, и любил обедать здесь и после обеда просиживать иногда час, другой в уютном гнезде, которое свила себе моя хозяйка.

Ее в эту минуту не было в комнате, и я присел к столу.

На чистой скатерти расставлен был хорошенький чайный прибор, а булки, свежее масло и сливки смотрели так аппетитно, что я с удовольствием собирался напиться чаю.

Через несколько секунд из кухни вышла Софья Петровна в белом капоте и чепчике с голубыми лентами, из-под которого выбивались пряди белокурых волос. Она была очень

недурненькая маленькая блондинка, мягких форм, с небольшим добродушным лицом, пухлыми щеками и вздернутым носом. Когда она подошла поближе, я заметил, что глаза ее были красны от слез.

Я поздоровался с нею.

— Что это вы, Софья Петровна, нездоровы, что ли?

— Нет, ничего! — проговорила она и вдруг нервно прибавила: — А вы что так поздно?

— Зачитался.

— У старухи?

— Да, у старухи. Интересный роман попался.

— Ваша красавица приходила слушать?

— Приходила! — проговорил я с раздражением, припоминая унижение, которому я ежедневно подвергался.

— И долго слушала? — продолжала Софья Петровна, и, показалось мне, в голосе ее звучала сердитая нотка.

— Да что вы так ею интересуетесь, добрейшая Софья Петровна? Налейте-ка мне лучше чаю. Ужасно пить хочется.

Она вдруг вспыхнула до ушей, взглянула

на меня с нежным укором в глазах, хотела что-то сказать, но из груди ее вырвался только вздох, и она стала разливать чай.

Я взглянул на нее. Странная мысль промелькнула в голове. «Не может быть!» — подумал я и вдруг почувствовал, что краснею, как школяр.

— А что же вы сливок?

— Сливок? Я и забыл.

— Сегодня вы какой-то рассеянный. Видно, красавица ваша околдовала вас? — попробовала она шутить, но шутка не выходила, и Софья Петровна, печальная, отхлебывала чай.

— Что же вы хлеба с маслом?.. Намазать?

Она стала резать хлеб, а я смотрел на ее белую сдобную руку, проворно и аппетитно приготавливавшую мне хлеб с маслом.

«Она недурна, — пронеслось у меня в голове. — Очень недурна!» — подумал я, всматриваясь в хозяйку в первый раз с особенной внимательностью.

— Хотите еще чаю?

— Позвольте!

Я выпил молча еще стакан. Софья Петровна тоже молчала и сидела за столом грустная,

задумчивая.

Убрали самовар, и мы пересели на диван.

— Знаете ли, что я вам скажу, добрый мой сирота, — начала она в шутовском тоне, — не влюбитесь вы в эту барышню!

— А что?

— Напрасно. Не для нас она с вами... Мы люди бедные, а она... Эх, Петр Антонович, вы, как посмотрю, и в самом деле думаете о принцессе!..

Она говорила эти слова с дрожью в голосе.

Я отвечал, что ни о каких принцессах не думаю, и посматривал на молодую хозяйку. Она сидела близко. Из-под капота вырисовывались ее мягкие, полные формы... Ее белокурая головка печально склонилась вниз, а маленькие ручки нервно перебирали обшивку... Мне вдруг захотелось подразнить ее.

— А отчего бы мне и не думать о принцессе?

— Да вы-то сами принц, что ли? — засмеялась Софья Петровна.

— Принц не принц, да и она не принцесса. Без шуток, она очень милая девушка.

— И вы влюблены в нее?

— А как вы думаете?.. — поддразнивал я.

— Послушайте, Петр Антонович, я, сами знаете, женщина простая, необразованная. Стыдно вам дразнить меня... стыдно!

Она закрыла лицо руками, заплакала и вдруг поднялась с места.

— Ну, виноват. Не буду, не буду!..

Я подошел к ней. Она была так близко от меня и глядела на меня так ласково добрыми нежными глазами.

— Я не влюблен в эту барышню. Я с ней и не говорил ни разу, — прошептал я.

Я чувствовал, как кровь прилиwała к голове, и хотел убежать в свою комнату, но близость молодой женщины притягивала меня. Я совсем приблизился к ней.

— Ну, что, довольны вы теперь?

Она улыбнулась, заглянула мне в глаза с какой-то лукавой нежностью и шепнула:

— Правда? Вы не влюблены в эту девушку?..

Вместо ответа я вдруг обнял ее. У меня закружилась голова. В первый раз я прижимал к своей груди женщину.

Она тихо вскрикнула, отскочила в сторону



и заметила:

— Вы смеетесь... Вы меня не любите!

— Люблю, люблю! — крикнул я в каком-то бешеном порыве.

Она порывисто бросилась ко мне на шею и

осыпала меня поцелуями, как безумная, повторяя самые нежные слова любви.

Когда я вернулся в свою комнату, мне вдруг сделалось стыдно. Я хотел на другой же день сказать ей, что я ее обманул, что с моей стороны был только порыв и больше ничего, но ничего не сказал.

Софья Петровна была дочь содержанки. История ее очень проста. Она училась в школе, потом молодой девочкой попала на содержание к богатому старику, привязалась к какому-то юноше и потеряла в одно время старика и любовника. Первый отказал ей в средствах; второй, узнав, что у нее нечего занимать, бросил ее, предварительно обобравши.

— После этого мне ничего не оставалось, как броситься в воду, — рассказывала мне Софья Петровна, — право, очень тяжело мне было, что человек, которого я любила, так обманул меня. Уж я готова была исполнить намерение и стояла у Николаевского моста, как меня удержал какой-то господин. Он успокоил меня и приютил у себя. Это был доктор, добрый и хороший, но больной человек. Я к нему привязалась, как собака, и прожила с

ним пять лет. Любить я его не любила как женщина. Он был больной, совсем больной, а я молодая, но я любила его как спасителя и до смерти была верна ему, хотя он этого и не требовал, и была его сиделкой. Два года тому назад он умер и оставил мне три тысячи рублей. Я сняла квартиру и пускаю жильцов. Вот и вся моя история!.. — заключила свой рассказ Софья Петровна.

Беда в том, что она не понимала меня и нередко в разговорах строила планы, как я получу место и как мы будем жить вдвоем. Меня это коробило, но я не разуверял ее. К чему?.. Она была так счастлива тем вниманием, которое я оказывал ей, что жестоко было бы разочаровывать бедную. Да и я так спокойно, экономно и уютно устроился, что мне не к чему было нарушать порядок своей жизни. Я сумел ее отучить от ревнивых сцен, и так как обыкновенно возвращался домой в девять часов, то не приходилось и объяснять ей, почему я не желал бывать с нею в театре. Мы и без того проводили довольно времени вдвоем, — к чему еще было показываться вместе?

Софья Петровна первое время была счаст-

лива и веселилась как сумасшедшая. Она поджидала меня вечером. Мы пили чай и потом оставались одни. Она ласкала меня с какой-то безумной нежностью. Я сам был молод и отдавался животной страсти с увлечением юноши, впервые близко познакомившегося с женщиной.

Но через месяц я стал холодней. Софья Петровна потребовала объяснений. Я сослался на болезнь, но она стала грустней и подозрительно заглядывала мне в глаза. Медовый месяц страсти прошел. Наступило время обыкновенной случайной связи. Я реже заглядывал в ее комнаты и чаще просиживал один за работой. Она не роптала и довольствовалась тем, что я изредка бросал ей ласковое слово. Она и не подозревала, что «принцесса», как она называла молодую девушку, не переставала интересоваться мной и злиться. Мне во что бы то ни стало хотелось, чтобы эта девушка обратила на меня внимание, и — кто знает? — быть может, она полюбит меня. А любил ли бы я ее, это еще мы посмотрим!.. Но, главное, мне надо было скорей выбраться в люди.

VIII

С того самого вечера, как я читал у старухи роман Стендаля, я заметил, что старуха стала относиться ко мне холодней. Она редко заговаривала со мной и ни разу не повторила приглашения своего остаться пить чай. Молодая девушка тоже редко заходила к бабушке в то время, когда я был там, и мы обыкновенно оставались со старухой вдвоем. Редко, очень редко девушка на минутку мелькала в комнате, холодно кивая головой на мой поклон. Мало-помалу и я стал излечиваться от своей дурной страсти (если только мое чувство можно было назвать страстью) и уже не прислушивался с замиранием сердца к знакомым шагам и шелесту платья.

И мысли о том, что старуха, из чувства благодарности к милому молодому человеку, развлекаящему ее чтением, оставит ему после смерти несколько тысяч рублей, тоже показались мне глупыми до последней степени. Надо было бить наверняка, а не строить воздушные замки. Я это очень хорошо понимал и потому желал получить какое-нибудь место, где

заметили бы мои способности. Особенно хотелось мне попасть к Рязанову и действовать если не на него, то на его жену. Эта красивая барыня имела на него большое влияние, но, к сожалению, мне как-то не удавалось обратить ее внимание. Говорили, что она не любит мужа и большая кокетка.

Так раздумывал я, пробираясь как-то холодным весенним петербургским вечером к дому, где жила моя старуха. Мне приходилось переходить дорогу, и я, занятый своими мыслями, тихо переходил улицу, не обращая ни на что внимания.

Вдруг под самым моим ухом раздался отчаянный крик: «Берегись!» Я поднял голову. Передо мной торчало дышло кареты и шел пар от лошадиных морд. Я инстинктивно сделал движение в сторону, но что-то сбило меня с ног и откинуло на мостовую. Я был ошеломлен, но не почувствовал никакой боли, быстро встал на ноги и злобно взглянул в ту сторону, куда поехала карета.

— Мерзавцы! — крикнул я. — Чуть было человека не раздавили!

Карета, однако, не двигалась и была от ме-

ня в нескольких шагах. Лакей высаживал какую-то даму, укутанную в шубку. Она быстро выскочила и бежала ко мне.

— Не ушиблись ли вы?.. Не нужна ли помощь?.. Карета к вашим услугам! — проговорила барыня, приблизившись ко мне.

Я сразу узнал этот голос. Это был голос моей «принцессы».

Когда она подошла близко, я увидал ее испуганное, бледное, расстроенное лицо.

Должно быть, она меня сразу не узнала в полутемноте вечера.

— Благодарю вас! Мне ничего не нужно!.. — отвечал я.

— Ах!.. Это вы... Петр... Антонович?.. — прошептала она, изумляясь неожиданной встрече и, показалось мне, как бы недовольная, что это был именно я. — Простите, пожалуйста!.. Не ушиблись ли вы?

— Нисколько!

— И вы можете дойти без помощи?

— Конечно! Только прикажите вашему кучеру ездить осторожнее! — внушительно прибавил я и, поклонившись, быстро повернул и пошел, не оборачиваясь, по направле-

нию к дому, где жила старуха.

«Тоже сочувствие выражает, а сама как бешеная ездит! — думалось мне после этого происшествия. — И теперь, верно, досадно ей, что пришлось из кареты выпрыгнуть для какого-то чтеца».

Я привел в порядок свой костюм у швейцара и, по обыкновению, поднялся наверх. Лакей попросил несколько минут подождать.

— У барыни гости! — заметил он внушительно.

Я присел в гостиной и перелистывал какую-то книгу. До моего слуха из гостиной долетал чей-то веселый, необыкновенно симпатичный мужской голос. Гость то смеялся, то говорил без умолку, громко, очевидно несколько не стесняясь присутствием больной старухи.

Прошло с четверть часа... У меня начинало слегка побаливать плечо, и я потирал его рукой, как в гостиную вошла «принцесса». Она, должно быть, заметила мое движение и, показалось мне, хотела было направиться в мою сторону, но в это время из будуара старухи вышел высокий красивый здоровый моло-

дой офицер. Она свернула и пошла к нему навстречу.

— Вы какими судьбами, Екатерина Александровна?! — удивился офицер. — Что заставило вас вернуться? Вы так рвались к вашей кухне? Уж не желание ли проститься со мной дружелюбней, чем вы только что простились?

— Не то, Крицкий!.. У меня просто сделался мигрень!

— И вы поэтому вернулись? Не верю! — смеялся офицер.

— Как хотите. Я не прошу, чтобы вы верили.

В это время взгляд офицера скользнул в мою сторону. Он прищурился и тихо спросил по-французски:

— Это что за господин?

— Бабушкин чтец!

— Студент?

— Нет!.. А впрочем... не знаю...

— Интересное лицо! — прибавил он, улыбаясь и взглядывая на Екатерину Александровну.

Мне показалось, что при этих словах

«принцесса» покраснела.

— Не нахожу! — ответила она.

— Вы эксцентричны!.. Для вас ведь интересно все то, что неинтересно для других! — прибавил офицер, вдруг впадая в грустно-шутливый тон.

— Это старо, Крицкий!.. Скажите что-нибудь поновей!

— У меня все старое и на сердце и на языке!

— Опять? — шепнула Екатерина Александровна. — Однако я вас не держу... вы собирались... Верно, в клуб?

— А то куда же?

— Играть?

— Играть.

— Желаю вам выиграть.

— И за то спасибо.

Офицер пожал руку девушки и ушел. В это время Марья Васильевна позвала меня.

Я уселся в кресло и начал читать. А плечо болело сильнее, но я не показывал виду. Я читал как-то машинально. Из соседней комнаты долетали звуки фортепиано, и я прислушивался к прелестной мелодии. Игра оконча-

тельно расстроила мои нервы, и, когда пробило девять часов, я поспешно вышел из комнаты.

Проходя через залу, я снова встретился с Катериной Александровной. Она ходила взад и вперед быстрыми шагами. Очевидно, происшествие подействовало на ее нервы. От этого она и вернулась назад, хотя и стыдилась признаться в этом и сослалась на мигрень. В самом деле, как признаться, что почувствовала жалость к человеку, которого чуть было не раздавила?

Завидев меня, она нерешительно остановилась на месте, но тотчас же пошла навстречу ко мне.

— Я снова должна извиниться перед вами за кучера, проговорила она, вскидывая на меня взгляд. — Вы, кажется, ушиблись, и я готова...

Она, видимо, затруднялась окончить речь и подняла на меня свои прелестные черные глаза. Теперь в них не было обычного гордого выражения; напротив, они глядели как-то робко, умоляюще.

Я глядел ей прямо в лицо и с трепетом

ждал, что она скажет.

— Вы человек труда... Я понимаю это... Очень может быть, что вам придется обратиться к врачу, и если вы позволите... если вам нужна помощь...

Сердце у меня болезненно сжалось. Злоба душила меня. Я понимал, что она хочет сказать. Я молчал и ждал, что будет дальше.

Но она совсем растерялась. Обыкновенный ее апломб пропал. В глазах стояли слезы.

— Вы не обидьтесь, пожалуйста, — пролепетала она. — Я хотела сказать, что если нужна помощь...

— Какая? — тихо проговорил я, но проговорил таким голосом, что она испуганно посмотрела на меня и сделала несколько шагов назад.

Она молчала... Молчал и я.

— Доктора или...

— Дать несколько денег бедному молодому человеку за ушиб? — перебил я, чувствуя, что более не владею собою. — Не нужно мне ничего! Если б я хотел получить десять рублей за ушиб, то я подал бы жалобу к мировому судье, но не взял бы от вас. А вы думали предло-

жить мне деньги?.. Чтец!.. Он возьмет!.. Он нищий!.. Да вы с ума сошли? — проговорил я, задыхаясь.

Она совсем растерялась и ничего не отвечала. Я вышел вон из комнаты.

IX

«**И** как она смела, как смела! — повторял я, вздрагивая от негодования при воспоминании об этой сцене. — Как она решилась оскорбить меня таким предложением? Именно она, которую я и обожал и ненавидел в одно и то же время!» Мое самолюбие, впрочем, было несколько удовлетворено тем, что я ее оборвал и показал ей, что я не первый встречный нищий, который примет подачку.

Однако плечо начинало болеть сильнее. Я взял извозчика и поехал домой.

Софья Петровна осмотрела мое плечо, послала кухарку за доктором и немедленно стала растирать мое распухшее и очень болезненное плечо мазью. Она как будто была довольна, что ей придется ухаживать за мной и выказать свою любовь. Она заботливо уложила меня в постель, напоила чаем и с такой любовью глядела мне в глаза, что я, казалось бы, должен был радоваться; но меня, напротив, ее внимание и любовь тяготили, и я отворачивался к стене, чтоб как-нибудь не обнаружить своих впечатлений перед этой доброй

женщиной. Она поправляла подушки, сердилась, что доктор так долго не идет, спрашивала, не надо ли мне чего, и нежно ласкала своей рукой мои волосы, а я... я с какой-то злобой посматривал исподлобья на ее белую, слегка дрожавшую от волнения пухлую руку, когда она осторожно дотрогивалась до моего лба. Ее мягкие, тепловатые пальцы заставляли меня откидывать голову... Но она, выждав минуту-другую, снова прикладывала их к моему лбу...

Нечего и говорить, что когда я рассказал ей о происшествии, то она напустилась на «принцессу».

— Подлая тварь! — взвизгнула она с какой-то злобой. — Велит кучеру гнать, а потом тоже выражает участие! Вот ваша принцесса! Какова она? Вот какова!

— И еще десять рублей предложила в помощь! — подливал я масла в огонь, чувствуя прилив злобы.

Но странное дело! Эпизод с предложением денег не произвел на Софью Петровну того впечатления, которое произвел на нее рассказ мой об ее извинении. Она даже нашла,

что, быть может, «принцесса» хотела предложить деньги от сердца, хотя, конечно, она должна была бы понять, с кем имеет дело, если б была поумней...

Софья Петровна хитрила. Она попросту ревновала меня к этой девушке. Я это хорошо видел и усмехнулся при сравнении этих двух женщин. Невольно образ девушки лез в голову, и я напрасно ругал себя за это и настраивался на враждебный тон. И чем более бранила ее Софья Петровна, тем противнее становилась мне ее круглая, пышная фигурка, пухлое личико, пухлые руки, добрый, заискивающий взгляд крупных серых глаз и какое-то самодовольство, проглядывавшее во всех ее движениях с тех пор, как мы с ней близко сошлись.

— Петруша... Петенька, как тебе теперь? — ласково шептала она, когда я чуть-чуть стоял от боли.

Меня резали эти уменьшительные «Петруша» и «Петенька». Они казались мне чем-то пошлым, неприличным.

Я нарочно не отвечал.

— Петя, голубчик, да что с тобой?

— Послушайте, Софья Петровна, — вдруг вскочил я, присаживаясь на кровати и чувствуя прилив бешенства. — Я вас прошу раз навсегда: не называйте меня ни Петрушей, ни Петенькой, ни Петей. Это раздражает меня.

Она вдруг вся обомлела. Глаза ее как будто сделались еще больше и глядели на меня растерянно и глупо.

— Как же звать вас? — наконец проговорила она.

— Зовите меня... ну, зовите Петром, что ли, но не Петрушей, слышите?

Я опять взглянул на нее, и мне стало жаль эту женщину. Чем она виновата? Я упрекнул себя. Зачем я тогда, после памятного вечера, не сказал, что я ее не люблю, что она не может быть моей женой, что наши дороги разные? Разве сказать ей теперь?

Будет сцена, ужасная сцена. А я сцен не люблю. Она станет плакать, упрекать... Мне придется оправдываться, снова устраивать себе другую жизнь, перебираться с квартиры. Еще бог знает на кого попадешь, а она... она все-таки заботится обо мне, любит меня, и...

и... ничего мне не стоит...

«Нет! — решил я, — и для меня, и для нее лучше, как придет время, расстаться тихо... Напишу ей письмо... объясню все. Она добрая, поймет, что она мне не пара».

Такие мысли пробегали в моей голове, и мне стало жаль, что я ни с того ни с сего вдруг оскорбил Софью Петровну.

— Соня! — проговорил я нежно, — прости меня.

Она изумленно взглянула на меня, поспешно утирая обильно льющиеся слезы.

— Прости меня, — продолжал я, протянув ей руку. — Я болен... Я нравственно болен. Ты понимаешь, что значит быть нравственно больным? — прибавил я.

Она не понимала, что хотел я сказать, и как-то жалобно взглянула на меня.

— Называй меня, Соня, как хочешь, и... и прости меня.

Не успел я окончить, как уж Софья Петровна обливала горячими слезами мою руку и говорила, что я добрый, хороший, милый. Словом, перебирала весь лексикон нежных названий.

— И разве я могу на тебя сердиться, дорогой мой? Разве я могу? Ведь ты любишь же меня хоть немножко, ну, хоть вот такую капельку. Любишь?

— Конечно...

— Вот если бы ты обманывал меня, если бы ты, не любя, говорил, что любишь, вот тогда... тогда...

Она приискивала выражение. Ее обыкновенно добрые глаза сверкнули зловещим огоньком.

— Тогда... тогда... тогда... уже я не знаю, что бы я сделала тогда. Однако я болтаю, а ты, быть может, хочешь отдохнуть. Да что же это доктор не идет? Как твое плечо?

— Болит.

— Господи! Как распухло! — заговорила она, снова принимаясь осторожно натирать плечо мазью. — Мерзкая тварь! Подлая тварь! — повторяла она с сердцем. — Из-за нее ты мог бы лишиться жизни.

Наконец в одиннадцатом часу пришел молодой военный доктор. Он осмотрел мое плечо, несколько раз надавливал его и все спрашивал: не больно ли?

— Больно, доктор.

— А теперь? — снова спрашивал он, надавливая в другом месте.

— Очень больно.

— Гм! Ну, а тут? — опять давил он самым бесцеремонным образом в третьем месте.

— Ой, очень больно.

— Так, так. Везде больно! — произнес он и устремил через очки сосредоточенный взгляд на плечо.

Несмотря на боль, я не мог не улыбнуться, глядя на серьезное лицо доктора. В нем была какая-то комическая черточка, смесь добродушия с большим апломбом, невольно вызывавшая улыбку.

— Вы как? — заговорил он, оглядывая беглым взглядом мою комнату.

— То есть как насчет средств? — переспросил я, понимая, что он хочет сказать.

— Ну, да. Можете лечиться дома?

— Разумеется, господин доктор, — подсказала Софья Петровна.

Доктор обратил на нее сосредоточенный взгляд, так что Софья Петровна сконфузилась, но он, по-видимому, не обращал на нее ника-

кого внимания, хотя и смотрел пристально; через минуту он отвел глаза и так же пристально стал смотреть на графин с водой. Наконец он проговорил:

— Вам надо недели две просидеть дома и надо, чтобы фельдшер ходил вам делать перевязку. У вас, видите ли, маленький вывих.

— А через две недели можно выходить?

— Надеюсь. А то, — вдруг прибавил он, — если дома неудобно, хотите в больницу? Я устрою вас. Вы студент?

— Гимназист.

— Нет, нет, зачем же в больницу? Лучше здесь, я сама буду ухаживать! — быстро проговорила Софья Петровна и сконфузилась.

— Ладно, я буду навещать. Завтра приеду, а теперь сделаем перевязку, потерпите немножко. Да мази этой не нужно, — сказал он, отодвигая баночку с мазью, — это, верно, вы? — взглянул он на Софью Петровну.

— Я, доктор.

— Бросьте ее за окно лучше, а впрочем...

Он не окончил и снова стал теревить мне плечо. Я терпел, но было очень больно. Доктор дернул сильнее. Что-то хрустнуло.

— Больно, доктор.

— И отлично! — проговорил он, не обращая внимания. — Бинтов... есть бинты?

Софья Петровна уже держала бинты наготове. Он сделал перевязку, обещал прислать фельдшера и ушел.

Софья Петровна сказала мне, что он отказался взять за визит, и расхваливала доктора. Я находил, что он поступил глупо. Отчего не брать, когда предлагают?

На следующий день я написал письма к генералу и старухе, что заболел и в течение двух недель быть не могу.

В тот же вечер от Остроумова пришел писарь и принес мне целый портфель бумаг и, между прочим, коротенькую записочку от генерала, в которой он, соболезнуя о моем нездоровье, уведомлял, что посылает мне «для развлечения» несколько работы; на одну из них он просил обратить особенное внимание и писал, что если она будет удачна, то я буду вознагражден особенно; кроме того, для «подъема духа» он прислал несколько брошюр своего сочинения.

Я поблагодарил Николая Николаевича за

брошюры и обещал сделать работу. Работы было-таки порядочно. Видно было, что Остроумов очень заботился о моем здоровье.

Софья Петровна со свойственной ей горячностью предлагала послать всю эту работу обратно и написать Остроумову, что он свинья.

— Ты, голубчик, не стесняйся отказаться от работы. Что с ними связываться? У меня есть деньги... — конфузясь, проговорила она. — Нам считаться нечего.

Я, разумеется, отказался и охладил ее горячность. Генерал был мне нужен.

Я просидел две недели дома и задыхался от попечений Софьи Петровны. В течение этого времени я сделал все, о чем просил Остроумов, и когда наконец доктор объявил, что я могу «опять попасть под дышло», я радостно вышел на улицу. Болеть бедному человеку не приходится.

Был прекрасный весенний день. Солнце ярко сияло, оживляя бойкие улицы. Я шел к Николаю Николаевичу с намерением напомнить ему об обещании. Скоро лето, и, вероятно, он куда-нибудь уедет на дачу, и мне при-

дется остаться на бобах и тронуть мои сбережения. Я недавно еще послал кое-что матери (я писал ей аккуратно каждую неделю), и хотя у меня и было рублей четыреста, но я очень боялся трогать мой запасный фонд без особенной нужды.

Генерал, по обыкновению, был «занят», но весело приветствовал меня и крепко пожал руку. Взгляд его стал необыкновенно ласков, когда я подал большую записку о проведении железной дороги по среднеазиатской степи. Из его набросков я сочинил целую поэму с статистическими данными, с общими взглядами и с приблизительным итогом прибылей...

Я уже привык к подобным работам, а потому мне не было никакого труда сочинить такую записку и нагромоздить в ней разных сведений, которые я выискивал из материалов, доставленных мне Остроумовым.

Николай Николаевич стал просматривать записку и пришел в восхищение.

— Отлично, отлично! Вы, Петр Антонович, стали писать молодцом!.. Вот что значит поучиться у меня!.. Не правда ли?

И эта скотина так самодовольно посмотрела на меня, что я только и мог сказать:

— Совершенно верно.

— Херувим мой... Дружок... Где вы? — крикнул генерал.

Из других комнат прибежали генеральша и племянница.

— Посмотрите, милые мои, посмотрите!.. — воскликнул Николай Николаевич, показывая торжественно на меня. — Вот достойный ученик мой! Он написал превосходную записку!

И он торжественно облобызал меня, а «херувим» и «дружочек» в свою очередь пожимали мне руки. Спектакль вышел очень интересный.

Когда мы остались опять вдвоем с Николаем Николаевичем («херувим» и «дружочек» после приветствий ушли поправлять вечные корректуры), я приступил к объяснению и сказал, что рассчитываю на его обещание помочь мне устроиться.

— Я думал о вас, много думал, Петр Антонович. И только на днях говорил с Рязановым о вас. Подождите недельку-другую, и мы обла-

дим ваше дело. Только, смотрите, не забывайте своего учителя. Я к вам еще буду обращаться за помощью. Мы с вами дел наделаем.

Я поблагодарил, больше не настаивал и принялся за работу. Через неделю, когда я пришел к Николаю Николаевичу, он поразил меня своим необыкновенно торжественным видом.

— Ну, батюшка, — встретил он меня, — я вам всегда говорил, что поговорка русская верна: за богом молитва, а за царем служба не пропадет. Вы потрудились, и я считаю долгом вознаградить вас.

И с этими словами он мне вручил двести рублей.

Я поблагодарил Николая Николаевича.

— А насчет службы потерпите. Что вы думаете делать летом?

— Я совершенно свободен.

— Мы едем сперва в деревню, а потом в Крым... Это время я отдыхаю... Вас надо на лето пристроить... Я поговорю с Рязановым... Кстати, на лето им нужен учитель... Вы можете заниматься с мальчиком?

— Могу.

— И отлично. А с Рязановым вы сойдетесь, и он вас поближе узнает... Рязанов на виду, и быть около него вам не мешает...

— Я очень бы желал!..

— И я желаю... Вы человек способный, и вам надо выйти в люди... Нынче порядочные молодые люди так редки!

Мы расстались большими приятелями... Я, признаться, недоумевал, как это Николай Николаевич выдал мне относительно большой куш, и через год уже узнал, что за мою записку Николай Николаевич получил от лиц, желавших хлопотать о среднеазиатской дороге, пять тысяч рублей... Щедрость его, таким образом, стала мне понятна...

Когда я узнал об этом, то, разумеется, стал писать записки без посредства комиссионеров... Но об этом в свое время...

Х

Признаюсь, у меня крепко билось сердце, когда я в урочный свой час поднимался по лестнице в квартиру старухи в первый раз после двухнедельного отсутствия.

Как меня встретит Екатерина Александровна?.. Сердится ли она или поняла, что имеет дело с человеком, который не позволит себе наступить на ногу?.. А быть может, она раскаялась и горячо сожалеет о своем поступке...

Я прошел в залу, пока старик лакей докладывал о моем прибытии. Через минуту меня позвали в будуар.

Я вошел и поклонился. Старуха, по обыкновению, кивнула головой. Она показалась мне в тот день совсем больной... Марья Васильевна то и дело подносила ей флакон с солью.

— Поправился? — тихо проговорила старуха, когда я сел на свое место.

— Поправился...

— В больнице лежали?..

— Дома...

— Читайте, да только, пожалуйста, потише... Что там у вас есть?..

— «Русская старина»... «Вестник Европы»... Письма архимандрита Фотия... Проповеди Филарета... «Фрегат „Паллада“...

— Довольно, довольно... Читайте-ка Филарета...

Я начал читать проповеди...

— Ах, как вы сегодня читаете!.. Ничего не слышно...

Я стал читать громче.

— Да нельзя так, молодой человек (с некоторых пор она перестала называть меня мосьё Пьером), или вы смеетесь над больной старухой?.. Вы слишком громко читаете...

Я понизил голос...

— Оставьте пока Филарета в покое... — опять закапризничала старуха. — Давайте что-нибудь полегче...

Я развернул наудачу «Вестник Европы». Смотрю: рассказ Золя.

— Угодно вам прослушать новый рассказ Золя?..

Она мотнула головой, и я начал...

Рассказ был несколько скабрезен, но ста-

рушка внимательно слушала... Я читал так с четверть часа. Тем временем Марья Васильевна, по обыкновению, ушла из комнаты... Прошло еще с полчаса... Я взглянул на старуху... Она моргала глазами... Я стал читать тише... Вижу, она дремлет... В комнате тишина. Свет от свечей чуть-чуть освещал дряхлое, старческое лицо... Я опять взглянул... глаз было не видно, а рот полураскрыт... Нижняя губа совсем отвисла... Безобразное лицо! Я опустил глаза на книгу.

Я замолчал и взглянул опять на старуху... Она не шевелилась. В комнате было совсем тихо и полутемно... Мне стало вдруг страшно... Я снова начал читать, сперва тихо, потом громче и громче; взглянул опять на старуху, она все-таки не шевелилась...

«Уж не умерла ли она? — подумал я, продолжая чтение... — Ведь вот лежит теперь, быть может, мертвая, а ты все читай... читай до девяти часов... Хоть бы кто-нибудь пришел сюда...»

Прошло еще с четверть часа... Никто не приходил, а она все не открывала глаз...

Мне сделалось жутко... Я опять перестал

читать и тихонько вышел в гостиную. Там никого не было. Я прислушался, не раздастся ли где голоса... Везде тишина... Марья Васильевна, очевидно, ушла в дальние комнаты... Я снова вернулся в будуар, взглянул в лицо старухи, и показалось мне, будто она в самом деле мертвая...

Я струсил. Не мертвой струсил, а в голову мне закралась страшная мысль: я оставался один в комнате, при старухе могли быть деньги.

От этой мысли у меня пробежали по телу мурашки, и я решился идти в соседнюю комнату, откуда часто выходила внучка. Я сперва постучал — ответа не было. Тогда я осторожно открыл двери и очутился в небольшой проходной комнате, откуда дверь вела в другую.

Я тихо отворил двери и остановился у порога.

В ярко освещенной большой комнате, по стенам которой висели картины, а по углам стояли бюсты, недалеко от рояля, за мольбертом сидела Екатерина Александровна и серьезно разглядывала какую-то картину. Свет

падал на девушку сбоку. Я видел ее вполоборота. Она до того увлечена была созерцанием картины, что не шелохнулась при легком скрипе дверей и продолжала разглядывать картину, подправляя ее кое-где мазком.



Она была в черном шерстяном платье, обливавшем ее стройный стан. Черные волосы падали на белый благородный лоб. Глаза были оживлены и блестели одушевлением. Она разглядывала картину и, по-видимому, была ею довольна.

Я замер на месте. Эта блестящая комната с артистической обстановкой, с изящной мебелью, картинами, цветами, щекотала нервы. И в этом уютном, роскошном гнездышке молодая девушка казалась какою-то чарующей богиней. Я вспомнил свою убогую квартиру, вспомнил, как жили мы с отцом, и чувство зависти закралось неволью в сердце...

Вот как надо жить! Вот как живут люди!

И я уж мечтал, что эта красавица моя жена. Я вхожу в комнату не как вор, а как повелитель. Неужели я не могу этого достичь? Стоит только захотеть! И я хотел в эту минуту, хотел всеми нервами моего существа быть богатым во что бы то ни стало.

Она вдруг поднялась и отошла в сторону, а я все стоял и совсем забыл о старухе. Я жадно глядел на красавицу, боясь пошевелиться, чтобы не нарушить очарования.

Но вот она повернула голову в мою сторону. Я пошел к ней.

Она чуть-чуть вскрикнула от неожиданности, задернула мольберт зеленым чехлом, сделала несколько шагов мне навстречу и остановилась. Мне показалось, что она немножко испугалась; губы ее вздрагивали, взгляд был испуганный. Она скоро оправилась и холодно спросила:

— Что вам угодно? Как вы попали сюда?

— Извините, я никого не нашел в гостиной. Ваша бабушка задремала и не просыпается. Я испугался, шел сказать кому-нибудь и... и очутился в этой комнате.

— Благодарю вас!.. Пойдемте.

С этими словами мы быстро вышли из комнаты. На ходу она тревожно спросила:

— Давно бабушка спит?

— С полчаса.

Мы вошли в комнату. Старуха не просыпалась. Екатерина Александровна подошла к ней и тихо проговорила «Бабушка!»

Старуха открыла глаза, но не могла прийти в себя.

— Читайте, читайте! — пролепетала она

каким-то шепелявым голосом. — Я слушаю.

— Бабушка, проснитесь, это я!

Екатерина Александровна придавила пуговку от электрического звонка и поднесла старухе под нос флакон.

— Ты что это, Катя? — очнулась наконец старуха.

— Ничего, бабушка. Как вы себя чувствуете?

— Хорошо, хорошо, моя родная. Я чуть-чуть вздремнула. Марья Васильевна, где вы? Платок!

Марья Васильевна подала платок и юлила.

— А молодой человек здесь? Он сегодня скверно читал. И бог знает что читал. Что вы это читали? Разве так можно читать? Я не люблю, когда так читают.

Екатерина Александровна взглянула на меня таким добрым взглядом, словно бы просила извинения за слова старухи, что я изумился. Она успокоила старуху и тихо передала Марье Васильевне приказание послать за доктором.

— Вы, молодой человек... Где же он? Отчего он не читает? Пусть он читает! Ах, что вы

со мной делаете? Вы, кажется, уморить меня хотите.

Она захныкала и заплакала.

— Послали за доктором? — тихо шепнула Екатерина Александровна.

— Доктор сейчас будет! — отвечала Марья Васильевна, возвращаясь через несколько минут в комнату.

А старуха опять впала в какую-то сонливость и только лепетала:

— Читайте же.

Екатерина Александровна умоляющим тоном просила меня читать.

Я раскрыл книгу наудачу и начал читать. Вероятно, под влиянием чтения старуха снова заснула.

— Благодарю вас... очень благодарю вас, — горячо сказала Екатерина Александровна, пожимая мне руку. — Вы устали... теперь не надо читать... Довольно... А на бабушку вы не сердитесь. Она ведь совсем больная... Вы не сердитесь... Вы придете завтра?.. Она привыкла к вашему чтению и сожалела, что вас не было... Вы, кажется, были больны?

— Я простудился...

— А плечо не болело... нет?..

Я покраснел.

— Нет, не болело!.. — ответил я.

Она чуть заметно улыбнулась, но улыбка была добрая, хорошая улыбка.

— Не сердитесь и вы на меня! — прошептал я, кланяясь.

— Я?.. за что?.. Я была виновата, а не вы... Вы были вправе сказать мне то, что сказали... Но только вы не так поняли... Впрочем, об этом когда-нибудь после...

Она ласково кивнула мне головой, и я ушел торжествующий, что наконец эта гордая девушка заговорила со мною по-человечески и даже созналась, что была виновата.

Начало было сделано. А там — кто знает, что будет дальше.

Я возвращался весело домой и всю дорогу припоминал роскошь комнаты и красоту этой загадочной девушки.

Вот как люди живут!..

И вспомнилась мне Лена... Смешная! Она все ищет, верно, какой-то «правды» в нашем захолустье... И она мне в это время показала такой смешной, а наше захолустье та-

ким мизерным!

Я шел теперь твердым шагом по бойким улицам и смотрел кругом с уверенностью. Что-то говорило мне, что я не пропаду здесь, не погибну, а пробью себе дорогу и буду пользоваться жизнью полно, широко... Когда я пробьюсь, тогда и о правде можно будет подумать... Тогда и Леночка будет меня уважать... А теперь?.. Теперь и она, пожалуй, презирает меня... Несчастных все презирают... Лучше же быть молотом, чем наковальней. Наковальней?.. Избави бог!

Наступил май месяц.

Однажды, когда я пришел к Николаю Николаевичу, он объявил, что рекомендовал меня Рязанову и что тот просил на днях у него побывать. Генерал снова выразил уверенность, что господину Рязанову я понравлюсь.

— Вот Рязановой понравиться трудней... Она... взбалмошная бабенка, и муж ее чересчур балует... Сумейте и ей понравиться... Ну, тогда вы выйдете победителем...

Сам генерал уезжал на днях в деревню.

Я поблагодарил Николая Николаевича, и мы простились друзьями. Он облобызал меня, благословил, советовал ходить в церковь и просил осенью непременно побывать у него...

— Опять вместе будем работать... Ну, до свидания, мой молодой друг! — торжественно проговорил Николай Николаевич, осеняя меня крестом. — Да напишите мне, как вы покончите с Рязановым... Я просил за вас, и он обещал вас принять под свое покровительство. Сумейте только понравиться им. Осо-

бенно жене...

«Херувим» тоже благословил меня, за что я поцеловал ее руку, пальцы которой, по обыкновению, были замараны в чернилах. С племянницей обменялись рукопожатиями.

— Не забывайте же нас!.. — крикнул вдогонку Остроумов. — Осенью еще, быть может, придется вам заработать хорошие деньги... Сами знаете, я труд ценить умею.

Я про себя улыбнулся и еще раз простился с генералом. Не думал я тогда, что впоследствии нам придется встречаться при совершенно других обстоятельствах.

Вечером я, по обыкновению, шел к старухе. Приходилось дочитывать последние три дня. Неделю тому назад она мне объявила, что скоро уезжает. Эти дни я не видал внучки или видал ее мельком. Она снова сторонилась от меня и не удостоивала вниманием. Пройдет, кивнет, и хоть бы слово!

«А когда нужно было успокоить бабушку, тогда откуда ласковость бралась!.. Эгоисты они... все эгоисты!» — мысленно бранил я ее.

Подхожу. Швейцар останавливает меня.

— Напрасно подниметесь...

— А что?

— Княгиня в ночь приказала долго жить...

— Ну?

— Верно... Теперь наверху родственников... родственников...

— А очень она была богата?

— Страсть... Сказывают, миллион у нее... Да только родственники напрасно. Она все внучке отказала... барышне... Барышня славная!

— Екатерине Александровне?

— Ей самой... Хорошая барышня!..

Грустно отошел я от подъезда и тихо поплелся домой. Вот тебе и раз!.. Теперь я никогда не увижу Екатерины Александровны... никогда!.. А я еще, дурак, мечтал черт знает о чем!..

Новость эта меня поразила... Хотя я и должен был скоро прекратить чтение, но оставалось еще три дня, и я рассчитывал в эти дни как-нибудь вызвать на разговор молодую девушку и высказать все... все, что накипело у меня на душе... Быть может, она поняла бы меня, оценила!..

«Берегись!» — раздалось около меня. Про-

летела пролетка, и меня забрызгали грязью... Я только сжал кулаки и послал вслед ругательства...

А дома Софья Петровна встретила меня какая-то грустная... Она последнее время заметно изменилась... Куда девалась ее веселость?... Точно что-то мучило ее... Она несколько раз заговаривала о лете, но я избегал разговоров об этом, говоря, что еще время впереди есть... Надо было покончить сперва с Рязановыми, а там видно будет... Не киснуть же мне в самом деле с ней вдвоем на Екатерининском канале!.. Она все соблазняла меня по воскресеньям на острова, но я более отмалчивался...

— Послушай, Петя (она все-таки меня звала «Петей»). Послушай, Петя, — начала она за обедом. — Так как же летом?

— Надо, Соня, работы искать... Сама знаешь, я без занятий...

— Лето-то отдохни... Право, отдохни... Мы будем вместе на острова ездить...

— Работать надо...

— Ах ты какой... Ну, слушай... впрочем, нет... (Она вдруг вся зарделась.) Я тебе после скажу... радость скажу... Нас обоих касается...

Она с каким-то особенным выражением посмотрела на меня.

— Говори теперь...

— Нет... нет... не скажу... после...

Я не настаивал.

После обеда посыльный подал мне письмо. Я вскрыл его. В нем было тридцать рублей и письмо следующего содержания:

*«Милостивый государь,
Петр Антонович!*

Вы, вероятно, уже слышали, что бабушка моя вчера скончалась. Позвольте мне еще раз поблагодарить вас за ту доброту, с которой вы прощали капризы больной старушки, и еще раз напомнить вам, что покойница всегда выражала признательность за ваш труд.

Благодарю вас и смею уверить, что я всегда к вашим услугам, если только мои услуги могут быть вам полезны. Уважающая вас Екатерина Нирская.

При сем прилагаю следуемые вам за месяц тридцать рублей».

Я несколько раз прочел эти строки, написанные изящным английским почерком. Меня задел за живое тон письма, особенно последние его строки: «Я всегда к вашим услугам, если услуги мои могут быть вам полезны!» Ясно, она смотрит на меня с высоты своего величия, эта гордая барышня, и допускает знакомство только в качестве благодетельницы бедного чтеца, лишившегося занятий.

— Тебя огорчило письмо... От кого это? — спросила Софья Петровна.

— От богатой наследницы.

— Можно прочесть? — как-то робко продолжала молодая женщина.

Я бросил ей письмо.

Она прочитала его и с сердцем заметила:

— Чего она лезет с письмами!

— Как же, нельзя! Надо порисоваться! Я, мол, не прочь порекомендовать вас, молодой человек. Вы хорошо читали сумасшедшей старухе, и, если хотите, я вам еще такую старуху подыщу.

— Да ты не сердись так! Ты ужасно обидчив, Петя. Стоит ли так сердиться? Плюнь ты на нее, разорви письмо, и дело с концом!

— Нет. Их за это надо обрывать. Я отвечу ей.

— К чему? Ну, разве тебе не все равно, что она пишет?

— Ты этого не понимаешь, — резко ответил я.

И Софья Петровна, по обыкновению, тотчас же покорно замолчала.

Я написал Екатерине Александровне ответ (досадно только, что не было у меня бумаги с вензелем), в котором благодарил за желание быть мне полезной и надеялся, что мне не придется возобновлять с ней наше «случайное» знакомство именно с этой целью. Письмо было короткое и сухое.

Я перечитал свой ответ и отправил письмо.

— Пусть прочтет!.. Пусть знает, с кем она имела дело!..

Я спрятал записку Екатерины Александровны, и, признаться, грустно мне было, что наше знакомство прервалось так быстро.

Задумчивый, сидел я у себя в комнате и не слышал, как вошла Софья Петровна.

— Петя! — тихо произнесла она.

Я поднял голову. Софья Петровна стояла передо мной печальная.

— Ты, кажется, и не интересуешься тем, что я обещала сказать тебе?

— Ах, да... Что это за новость?

— Это новость очень серьезная.

— Ну?..

Она обвила руками мою шею и, наклонившись надо мною, произнесла шепотом:

— Я беременна, Петя...

В первый момент известие это не произвело на меня впечатления, но затем мне сделалось очень досадно и скверно.

— Ты молчишь. Ты не рад?

Я пожал руку Софьи Петровны. Бедная женщина была совсем смущена.

— Чему же радоваться, Соня? — нежно проговорил я. — Только одни заботы!

— Только?

Она совсем печально глядела на меня.

— Нам, бедным людям, дорога такая роскошь.

— Как ты говоришь — роскошь? — повторила она.

— Еще бы!.. Нам надо самим пробиваться,

а тут еще...

— Замолчи, замолчи, пожалуйста, — перебила она и вышла из комнаты.

Я пошел к ней. Она сидела на диване и тихо плакала.

— Послушай, Соня... Надо быть благодарной, а ты все плачешь... Разве я обидел тебя?..

Она молчала.

— Ну, рассуди сама... Можно ли радоваться твоему сюрпризу?

И я стал ей доказывать, что радоваться нечему.

Она слушала очень внимательно. Когда я кончил, она поднялась с места, подошла ко мне и пытливо заглянула мне в глаза... В это время лицо ее было серьезно, очень серьезно.

— Ты недоволен?.. — тихо проговорила она.

— Большой радости нет.

— И пожалуй, посоветуешь мне отдать ребенка в воспитательный дом?

Наконец она сама произнесла слово, которое давно вертелось у нее на языке. Должно быть, на лице моем она прочла одобрение,

потому что вдруг побледнела, зашаталась и как сноп повалилась ко мне на руки.

«Скорей, скорей надо покончить с этим! — думалось мне, пока я приводил ее в чувство. — Не связать же себя навеки ради того, что глупый случай вдруг сделал меня отцом!» Из-за такой случайности я не намерен был откапываться от своих планов и смолоду закабалить себя.

Софья Петровна открыла глаза. Я стоял подле и утешал ее.

— Ты меня не любишь, — были первые ее слова.

Я успокоивал ее, говоря, что напрасно она так думает, что я люблю, но что есть положения, при которых человеку нельзя приносить все в жертву любви.

Она выслушала и вдруг бросилась мне на шею. Покрывая меня поцелуями, Соня проговорила:

— Да разве я прошу жертв? Ничего, ничего не прошу... Только люби меня... люби! Ведь я тебя люблю, как никого и никогда не любила!

Она рыдала и в то же время улыбалась.

— Ведь ты... ты честный человек? Ты не

стал бы обманывать меня?.. Это было бы... Прости... Я бог знает что говорю...

И она снова обнимала меня. А я молча стоял и думал, как бы лучше выйти из глупого положения, в которое поставила меня связь, и в то же время не слишком огорчить эту добрую женщину.

XII

На другой день, в десятом часу утра, я занялся туалетом с особенною тщательностью, потом зашел к парикмахеру постричься и, скромно причесанный, как следовало молодому человеку в моем положении, отправился к господину Рязанову на Васильевский остров.

Петербургская жизнь научила меня, как надо ладить со швейцарами домов, в которых живут более или менее важные люди, и я без затруднений подымался по широкой, устланной красным ковром лестнице во второй этаж, получивши предварительно от швейцара сведения, что «генерал принимает, и у них никого нет». Я отдал свою карточку презентбельному на вид лакею и через минуту был введен в большой кабинет, уставленный шкафами с книгами и изящной мебелью, обитой зеленым сафьяном. За письменным столом, стоявшим среди комнаты, сидел господин Рязанов, небольшого роста, некрасивый, коротко остриженный брюнет лет сорока, в утреннем сером костюме. При моем появлении он

отложил в сторону перо, отодвинул лист исписанной бумаги и поднял на меня небольшие черные глаза, зорко и умно глядевшие из-под очков. Проницательный взгляд этих глаз скрадывал некрасивость лица, придавая ему умное выражение.

— Очень рад видеть вас, господин Брызгунов! — проговорил он, чуть-чуть привставая и протягивая руку. — Садитесь, пожалуйста!

Я сел в кресло у стола и приготовился слушать.

— Вас очень рекомендует Николай Николаевич Остроумов. Он в восторге от ваших занятий и трудолюбия, а в особенности от ваших трезвых взглядов, столь редких, к сожалению, среди нашей бедной молодежи, — прибавил господин Рязанов тоном соболезнования.

Мне оставалось только поклониться.

— Вы, кажется, деятельно помогали Николаю Николаевичу в составлении записок? — спросил Рязанов, и, показалось мне, в его глазах мелькнула усмешка.

— Помогал.

— В составлении записки о среднеазиат-

ской дороге вы, если не ошибаюсь, тоже принимали участие?

— Да, под наблюдением Николая Николаевича.

— Так... так... Она недурно написана, очень недурно, хотя, впрочем, сведения неверные...

Рязанов помолчал, оглядывая меня своим зорким взглядом, и наконец продолжал:

— Остроумов, между прочим, говорил мне, что вы были бы не прочь ехать на лето в деревню в качестве репетитора?

— Да, я ищу занятий.

— Вы занимались прежде репетиторством?

— Как же! И в гимназии, и по окончании курса я давал уроки.

— Вы прежде служили у мирового судьи письмоводителем?

— Да.

— И приехали сюда искать работы более подходящей?

— У меня на руках мать и сестра, а жалованье письмоводителя ничтожно.

— Так, так... Это я к слову... Мне все эти подробности сообщил Николай Николаевич,

рассказывая, как вы помогаете вашему семейству. Это такая редкость нынче...

Я потупил скромно глаза, недоумеваю, к чему он делает мне такой допрос.

— Сын мой, мальчик двенадцати лет, — продолжал Рязанов, — к сожалению моему, несколько ленив и в пансионе не очень бойко учился, так что ему надо хорошенько призаняться летом для поступления в гимназию.

— В классическую? — спросил я.

— Ну, разумеется! — заметил Рязанов, словно бы удивляясь вопросу. — Так не угодно ли будет вам, господин Брызгунов, взять на себя труд призаняться с мальчиком в течение лета?

Я, разумеется, согласился.

— Я слишком много слышал о вас хорошего, господин Брызгунов, и считаю излишним пояснять, что только отличные рекомендации относительно вашего направления заставляют меня поручить вам занятия с сыном. Надеюсь, им не обижаетесь и понимаете меня, господин Брызгунов?

Он говорил отчетливо, словно бы произносил спич, глядя на меня своим пронизываю-

щим взором, и так отчеканивал «господин Брызгунов», что каждый раз этот «господин Брызгунов» производил на меня отвратительное впечатление. Уж слишком противной казалась моя фамилия в его отчетливом произношении.

Рязанов остановился в ожидании моего ответа и снова повторил:

— Надеюсь, вы не обижаетесь и понимаете меня, господин Брызгунов?

Я ответил, что «обижаться нечем» и что понимаю, как трудно найти подходящего человека.

— Совершенно верно. Я ни за что бы не пригласил к сыну молодого человека, особенно такого молодого, как вы, к которому бы не питал доверия. Нередко молодые люди, быть может и совершенно искренно, бросают в головы детей семена, которые впоследствии дадут печальные всходы. К несчастью, многое в нашей жизни способствует этому и как бы подтверждает нелепицу, которой пичкают непризванные учителя детские головки.

Господин Рязанов остановился на секунду, поправил очки и продолжал:

— Я, господин Брызгунов, очень люблю сына, и вы поймете, почему я позволил себе обратиться ваше внимание на те трудности, которыми обставлены родители. Я буду просить вас, господ... (по счастью, взгляд Рязанова упал на мою карточку, и он вместо «господин Брызгунов» произнес: Петр Антонович) я буду просить вас, Петр Антонович, обо всех щекотливых вопросах, которые может предложить мальчик, сообщать мне. Мой мальчик очень нервный, и с ним надо быть осторожным. Мы общими силами будем отвечать ему на щекотливые его вопросы. Мне бы хотелось, и, насколько в моих силах, я постараюсь достичь, чтобы из мальчика вышел трезвый, разумный слуга отечеству, — продолжал господин Рязанов взволнованно, — понимающий, что надо довольствоваться возможным, а не стремиться к невозможному. Надо уметь делать уступки, чтобы не остаться смешным донкихотом. В наше время, когда каждому приходится пробивать себе дорогу горбом, донкихотство обходится очень дорого. Зерно заключающейся в нем истины не стоит будущих разочарований. Надо жить, а не питать-

ся фантазиями.

Я слушал господина Рязанова с удовольствием. Его речь находила во мне полный отклик. Он словно повторял все то, о чем я часто и много думал и что заставляло меня идти, не сворачивая в сторону, по избранной мною дороге. Я не знал еще в то время, как господни Рязанов добился своего положения, — пробивал ли он свою дорогу, как он выразился, «горбом» или нет, но, во всяком случае, он был тысячу раз прав, когда говорил, что «жить надо, а не питаться фантазиями».

Я слушал, и передо мной промелькнул образ моей сестры. Как жаль, что, сидя в захолустье, она не могла слушать таких умных вещей! Тогда поняла бы она, что все умные и порядочные люди думают так же, как я, и понимают, что без борьбы, без уступок, без хитрости нельзя ни до чего добиться нашему брату, у которого нет ни связей, ни денег, ни хорошего родства. Глупенькая! Она все еще думала, что Петербург меня испортит, и все еще в письмах звала назад, в захолустье. Как бы не так! Петербургская жизнь понравилась мне и

еще более укрепила мое решение во что бы то ни стало составить себе приличную карьеру. Остаться проходимцем на всю жизнь и видеть одно презрение со всех сторон я не желал.

Должно быть, господин Рязанов заметил благоприятное впечатление, произведенное на меня его словами, потому что, окончив свою речь, он мягко заметил:

— Ну, теперь поговорим об условиях, Петр Антонович!

На этом пункте мы скоро сошлись. Он предложил мне семьдесят пять рублей в месяц.

— Вы, кажется, знакомы с моей женой? — заметил он, когда мы покончили с условиями.

— Как же. Я имел удовольствие видеть вашу супругу у Остроумовых.

— А вот сейчас познакомитесь с сыном, — проговорил Рязанов и позвонил.

Через несколько минут в кабинет вошла пожилая гувернантка-англичанка и привела с собой мальчика, лицом похожего на отца. То же некрасивое лицо и те же умные, чер-

ные глаза, но только сложения он был нежно-го, и взгляд его был какой-то задумчивый.

Рязанов с любовью поцеловал сына и, знакомя меня с ним, проговорил:

— Вот, Володя, твой учитель на лето, Петр Антонович. Он был так добр, что согласился помочь тебе заниматься.

Володя протянул худенькую руку, взглянул на меня своим задумчивым взором и ничего не сказал.

С гувернанткой мы раскланялись.

— Мама встала? — спросил отец.

— Нет, спит еще, — отвечал Володя.

Володя был сыном от первой жены Рязанова. От второй жены, той красивой барыни, которую я встречал у Остроумовых, детей не было. Мальчик скоро вышел из кабинета с гувернанткой, и Рязанов проговорил:

— Володя, как вы, вероятно, заметили, слабого здоровья. Кроме того, он очень нервный мальчик. Впрочем, вы сами это увидите. Так уж, пожалуйста, Петр Антонович, берегите его и не позволяйте ему слишком много заниматься. Да пишите мне, как он учится. Я в деревню теперь не поеду; месяц или два вы про-

живете без меня. Я могу приехать только в августе. Жена собирается через неделю. Вы можете быть готовы к отъезду к этому времени?

— Могу.

— Ну, отлично, а сегодня милости просим к нам обедать в пять часов. Кстати, вы покороче познакомитесь с женой, и затем мы окончательно решим день отъезда.

Когда я снова пришел к пяти часам к Рязановым, госпожа Рязанова встретила меня довольно приветливо и, оглядывая меня, казалось, осталась довольна, что у них в доме будет учитель, приличный на вид.

Она сказала несколько любезных слов, выразила надежду, что я не буду скучать в деревне, и, как кажется, ничего не имела против выбора мужа. Это была женщина лет двадцати шести или семи, красивая, статная, видная брюнетка, с бойкими карими глазами и изящными манерами, в которых проглядывала избалованность капризной женщины, привыкшей к поклонению.

За обедом господин Рязанов казался совсем не таким, каким был в кабинете. Перед женой он как-то притихал, бросая на нее бес-

покойные взгляды, полные любви и нежности. А она как будто не замечала их и капризно делала мины, когда господин Рязанов в чем-нибудь не соглашался с ней. Нельзя было не заметить тотчас же, что эта барыня — избалованное существо и в доме играет первую роль. С мужем она была снисходительно-любезна и, казалось мне, холодна. За обедом она два раза меняла дни отъезда и наконец решила, что уезжает через восемь дней.

— Это решение, надеюсь, последнее? — ласково пошутил Рязанов.

Рязанова сделала недовольную гримасу и ответила:

— Последнее!

Володя кинул на мачеху быстрый взгляд, в котором нельзя было заметить привязанности.

Предстояло объявить о моем отъезде Софье Петровне. Я рассчитывал проститься с ней навсегда, хотя, разумеется, не думал говорить ей об этом, чтобы не расстраивать понапрасну бедную женщину, привязавшуюся ко мне. Возвратившись от Рязановых, я прошел к ней в комнату. Она сидела на диване пе-

чальная, с заплаканными глазами. При входе моем она вытерла глаза и радостно улыбнулась.

— Ты что это... плачешь, Соня?..

— Нет... нет... ничего... Так взгрустнулось...

— А я на лето работу нашел, Соня! — проговорил я, обнимая ее.

Она вся встрепенулась и быстро спросила:

— Здесь... в городе?..

— Нет, какая летом в городе работа! Я еду в деревню готовить одного птенца в гимназию... на три месяца! — поспешил я прибавить, заметив, как Соня бледнеет.

— Так ты, значит, оставляешь меня теперь, когда я... в таком положении!

— Соня... Соня! Ведь мне нельзя сидеть сложа руки, ты знаешь...

Но разве женщина понимает резоны?

— На лето!.. Лето ты мог бы отдохнуть... Наконец, и говорила тебе: не стесняйся, у меня есть деньги...

— Я на чужой счет жить не привык!

— На чужой счет? Разве ты со мной считаешься?..

— Ты сама, Соня, не богачка, чтобы с тобой

не считаться... И наконец, я должен помогать матери... Бросим лучше этот разговор! — твердо сказал я. — Я приехал и Петербург работать, а не сидеть сложа руки. Надеюсь, ты не захочешь стать мне поперек дороги, если действительно любишь меня... У меня, Соня, впереди дорога широкая...

Она слушала, взглядывая на меня во все глаза, покачала головой и грустно усмехнулась.

— Люблю ли я?.. И тебе не стыдно сомневаться?

— Так если любишь — не удерживай и не делай сцен. А сцен не люблю!

Тогда Соня, по своему обыкновению, от упреков перешла к извинениям. Она склонила голову на мою грудь и, нервно рыдая, просила прощения.

— Ты прав, ты прав, Петя, — прерывая слова всхлипываниями, говорила она. — Я гадкая женщина... я эгоистка... и мешаю тебе... Поезжай, милый мой, поезжай... Как ни тяжело мне будет прожить без тебя три месяца, но я вытерплю, все вытерплю...

Она уверена была, что я вернусь.

— И когда ты вернешься, Петя, — продолжала она, улыбаясь сквозь слезы, — когда вернешься, ты увидишь, какая у тебя будет комната! Я отделаю тебе большую комнату, в которой теперь живет генерал... Я его попрошу выехать... У тебя будет превосходный кабинет... Я поставлю туда новую мебель... Ты какую хочешь обивку... зеленую или синюю?.. Что же ты молчишь?..

— Все равно...

— Ну нет, не все равно... Синюю лучше... Я куплю хорошего репсу, и к твоему приезду все будет готово... Обои тоже новые, под цвет мебели... Гардины, знаешь, с узорами... Ты увидишь, как будет хорошо.

Я не мешал ее веселой болтовне и не спешил разрушать ее надежд. А она, раз попавши на любимого своего конька, продолжала на ту же тему, рассказывала, как можно летом выгодно купить подержанную мебель и всякие вещи, и рисовала одну за другой светленькие картинки нашей будущей жизни. Она не отдаст ребенка, но он не будет меня стеснять... Кормить она будет сама, а как ребенок подрастет, мы непременно поедем на

дачу на Крестовский остров.

— Ты непременно полюбишь его! — говорила она, краснея, в каком-то волнении. — Ты ведь добрый.

Глупая! Она и не понимала, как резала мое ухо эта болтовня о дешевой мебели, светленьких обоях и даче на Крестовском! Она с восторгом рассказывала обо всем этом, думая, вероятно, что я всю жизнь просижу на мебели из Апраксина двора и что дача на Крестовском составляет для меня недостижимую прелесть. Впрочем, и то: я беден, так как же мне не мечтать о дешевой мебели и светленьких обоях?

Бедная женщина с обычной своей аккуратностью собирала меня в дорогу и, утирая набегавшие слезы, укладывала в чемодан платье, белье и несколько книг. Она непременно хотела меня проводить на железную дорогу, и мне стоило немалых трудов отговорить ее от этого, доказывая, что присутствие такой «хорошенькой» женщины, как она, может уронить меня в глазах Рязанова.

— Ты скажи, что я твоя сестра, — настаивала она.

— Он знает, что здесь у меня сестры нет. Она наконец согласилась на мои доводы. Накануне отъезда Соня целый день плакала и ничего не ела, и только вечером, когда я приласкал ее, она повеселела и стала душить меня горячими поцелуями. Словно бы предчувствуя, что в последний раз целует меня, она с какой-то страстью отчаяния обнимала меня, беспокойно заглядывая в глаза. Она то и дело спрашивала: люблю ли я ее, и, получая утвердительный ответ, смеялась и плакала в одно время, прижимаясь ко мне, как испуганная голубка. Когда наконец наступил час разлуки, она повисла на шее и, судорожно рыдая, шепнула:

— Смотри же, пиши и возвращайся... Ты ведь вернешься, не обманешь?

— Вернусь, вернусь, — отвечал я.

— Смотри же, а то... будет стыдно бросить так человека... Ведь я тебя люблю!

Я вышел расстроенный. Мне все-таки жаль было Соню, с которой я расставался навсегда.

Еще раз она крепко поцеловала меня, и... я вышел из своей маленькой конуры с тем, чтобы никогда больше в нее не возвращаться.

XIII

Приехав на Николаевский вокзал, я уже застал там все семейство Рязановых: мужа, жену, сестру жены — пожилую даму, племянницу господина Рязанова — девушку лет шестнадцати, англичанку-гувернантку и Володю.

Рязанова оглядывала публику в *pinse-nez*, которое придавало ее лицу необыкновенно пикантный вид, Рязанов был какой-то сумрачный и недовольный. Он сидел около жены и что-то говорил ей, но она, казалось, не очень-то внимательно его слушала и продолжала разглядывать публику.

Когда я подошел к группе, Рязанова оглядела меня с ног до головы, кивнула головкой и сухо проговорила:

— Наконец-то! Мы думали, что вы опоздаете.

Рязанов любезно протянул свою руку и сказал:

— Напрасно ты конфузишь, *Helene*, молодого человека: еще полчаса времени до отхода поезда.

Затем он представил меня своей свояченице и племяннице и, отводя в сторону, проговорил:

— Смотрите же, Петр Антонович, пишите мне, как занимается Володя. Пишите чаще, — обронил он.

Я обещал писать о сыне, и мы подошли к группе.

Рязанова пристально взглянула на меня, отвела взгляд и как-то странно пожалала плечами, взглядывая на своего осоловевшего мужа.

Пора было садиться в вагоны. Рязанова поднялась с места, а за нею вся остальная компания с мешками, баулами и сумками. Мне тоже дали нести маленький саквояж. Муж и жена пошли вместе и оживленно заговорили. Я шел недалеко от них, и до меня доносились звонкий смех Рязановой и веселый голос мужа. На платформе Рязанов не имел уже мрачного вида. Напротив, он был доволен и весел и не отходил от жены. Как видно, она умела по своему желанию менять его настроение. Недаром Остроумов предупреждал меня, что Рязанова взбалмошная бабенка и держит мужа в руках. По всему было видно,

что он говорил правду.

Для семейства Рязанова было отведено особое купе (Рязанов был директором железнодорожного общества. Он занимал несколько должностей), в котором и разместились дамская компания. Рязанова, однако, находила, что тесно, и сделала гримасу, так что муж беспокойно взглянул на нее. Впрочем, когда поставили к месту все мешки, чемоданы и баулы, то оказалось, что «ничего себе».

Мое место было в соседнем вагоне I класса. Я занял место у окна и вышел из вагона наблюдать за Рязановыми, к которым бросила меня судьба. Рязанов мне очень нравился, а сама она казалась капризной и избалованной женщиной, которой, пожалуй, трудно будет понравиться. Я помнил совет Остроумова: «Постарайтесь понравиться ей».

— Уж вы, Петр Антонович, будьте так добры, навещайте изредка дам и вообще не оставляйте их в дороге! — любезно просил меня Рязанов, оборачиваясь ко мне.

— Непременно.

— Не пугайтесь просьбы мужа! — вставила Рязанова. — Вам не придется очень хлопотать

с нами. Мы привыкли путешествовать.

Я взглянул на барыню. Она была необыкновенно изящна в сером коротком дорожном платье, плотно облегавшем красивый ее стан и не скрывавшем маленьких ножек, обутых в ботинки на толстой подошве, с сумкой через плечо и в крошечной соломенной шляпке, надетой почти на затылок. Она была такая свежая, красивая, статная. Все на ней было изящно и просто. Тонкая струйка душистого аромата приятно щекотала нервы, когда она стояла близко. На подвижном лице ее играла приветливая, довольная улыбка выхоленной женщины, сознающей свою красоту и силу. Теперь она отвечала ласковым взглядом на взгляды, полные любви, бросаемые на нее мужем. Он, казалось, сам расцветал под ее взглядом, тихо разговаривая с ней.

Пробил второй звонок.

Рязанов поцеловал женину руку, потом поцеловался с ней три раза и перекрестил ее. Сына он горячо обнял и тоже перекрестил.

— Смотри, Леонид, скорей приезжай! — говорила Рязанова из вагона.

— Ты знаешь, Helene, как бы я хотел ско-

рей быть с вами!.. Быть может, в конце июля вырвусь...

— Приезжай, папа! — крикнул сын.

— Приеду, приеду. Кланяйся, Володя, Никите... Твой пони ждет тебя! Ты, Helene, пожалуйста, не рискуй... Не садись на Орлика, пока его не выедят... С кем ты будешь ездить? С Андреем? Да скажи, пожалуйста, Никите, чтобы он написал мне... Ну, Христос с вами... Прощайте! Прощай, Helene, до свидания, Володя... Поправляйтесь, Marie... Не шали, Верочка!.. Прощайте, мисс Купер!..

Пробил третий звонок.

Рязанов приветливо махал шляпой, махнул и в мою сторону. Поезд тихо двинулся.

Дорогой я изредка подходил к Елене Александровне, осведомляясь, не могу ли я быть чем-нибудь ей полезен, но она любезно благодарила и говорила, что ей не нужно ничего. В Москве мы остановились на сутки и затем поехали дальше по Рязанской дороге. На третий день вечером мы вышли на маленькой станции, где два экипажа ожидали нас, чтобы везти в деревню. Елена Александровна была не в духе. Она суетилась и жаловалась на уста-

лость. Совершенно напрасно она сделала замечание Володе, распекла горничную и, обратившись ко мне, раздражительно сказала:

— Пожалуйста, поскорей, Петр Антонович... Да что ж вещи?.. Распорядитесь, чтобы скорей их несли!

Я ни слова не ответил на ее выходку... Да и что сказать? Ясно, она глядела на меня, как на «учителя», который, по ее понятиям, почти приравнивался к слуге.

Мне пришлось ехать в экипаже вместе с гувернанткой, Володей и горничной. Всю дорогу я молчал и злился.

XIV

Прелестный уголок был Засижье, куда мы приехали. Огромный старинный дом стоял в тенистом саду с вековыми липами, кленами и дубами. Сад тянулся к маленькой быстрой речке, шумевшей по камням... За речкой шли поля с черневшими крестьянскими избами.

Усадьба была отлично устроена. Дом сохранился в порядке и чистоте. Мне отвели прекрасную комнату во втором этаже с балконом в сад. Классная комната была внизу.

С следующего же дня я начал занятия с мальчиком. Он занимался недурно, но был рассеян. Задумчиво глядел он большими черными глазами во время уроков и вздрагивал, когда я обращался к нему с вопросами. Со мной он был ласков, но, казалось, я ему не особенно нравился; он никогда не рассказывал мне, что волнует его ребячью голову и о чем он так задумывается; никаких щекотливых вопросов не задавал.

Жизнь в деревне потекла однообразно, правильным порядком. Я рано вставал и хо-

дил гулять, потом пил кофе у себя в комнате, затем часа два мы занимались с мальчиком; остальное время было в полном моем распоряжении. Завтракали и обедали по звонку. Я спускался к завтраку и обеду и скоро уходил наверх. Меня не удерживали внизу и не стесняли. Я держал себя в стороне, обмениваясь короткими фразами с членами семейства.

Елена Александровна в деревне казалась еще красивее, чем в городе. Румянец играл на ее щеках, и она, всегда изящно одетая, свежая, веселая, вела в деревне деятельную жизнь. По утрам беседовала с приказчиком Никитой, умным, плутоватым мужиком, читала, а после обеда устраивала общие прогулки и катания. Меня никогда не приглашали принять в них участие, и я, признаться, был очень рад этому, так как Рязанова продолжала держать себя со мной с любезной сухостью и, казалось, боялась допустить меня стать с членами семейства на равную ногу. Меня, очевидно, третировали как учителя, бедного молодого человека совсем другого круга, которому место не в порядочном обществе. Все члены семейства смотрели Елене Алексан-

дровне в глаза. Когда она бывала в духе за обедом, все весело шутили и смеялись; но чуть Елена Александровна капризно поджимала губки, хмурила брови и пожимала плечами — все притихали. Старшая ее сестра, немолодая и болезненная женщина, беспокойно взглядывала на нее, подросточек-племянница, бойкая гимназистка, опускала свои быстрые глазки на тарелку, а мисс Купер, аккуратная англичанка, еще более вытягивалась и сидела, точно проглотила аршин. Один только пасынок не разделял общего поклонения. Он очень сдержанно относился к мачехе и, по-видимому, не очень-то ее любил. И она не выказывала большой привязанности к нему, была с ним ласкова, ровна, но между ними теплых отношений не было... Общее поклонение, которым окружали эту барыню, она принимала как нечто должное... Избалованная вниманием, она, казалось, и не могла подумать, чтобы к ней могли относиться иначе. За обедом, отлично сервированным, обильным и вкусным, она изредка обращалась ко мне с двумя-тремя фразами, как бы желая осчастливить учителя, и часто, не до-

жидаясь ответов, обращалась к другим, не обращая на меня ни малейшего внимания. Понятно, это оскорбляло меня, но я не показывал вида и держал себя сдержанно и скромно, не вмешиваясь в разговор и отвечая короткими фразами, если со мной заговаривали.

Первое время Рязанова была весела. Каждый вечер до меня доносились из сада веселый ее смех и болтовня. Она ежедневно каталась верхом и, возвратившись, вечером садилась за рояль и пела. У нее был приятный контральтовый голос, и я нередко, сидя один на балконе, заслушивался ее пением. В такие вечера мне делалось тоскливо... Злоба и тоска подступали к сердцу, и я особенно чувствовал, как нехорошо быть бедным и незначительным человеком... Посмотрел бы я, так ли со мною обращались, если бы я не был скромным молодым человеком, нанятым в качестве учителя! Прошло две недели, и Рязанова стала хандрить, капризничать и раздражаться. Все было не по ней. За обедом она придиралась к сестре, к племяннице, распекала лакеев и делала замечания Володе, несколько не стесняясь моим присутствием. Все сидели

молча и с трепетом ждали, когда Елена Александровна успокоится. Меня смешил этот трепет, особенно смешила сестра Рязановой, которая глядела на свою младшую сестру с благоговейным восторгом. Однажды во время обеда, когда Елена Александровна особенно капризничала, я взглянул на нее и улыбнулся... Она поймала мой взгляд и изумилась, так-таки просто изумилась. Прошло мгновение. В глазах ее мелькнула злая улыбка, но она перестала капризничать и до конца обеда просидела молча.

«Черт меня дернул смеяться! — думал я, досадуя на себя, что так опростоволосился. — Пожалуй, она мне не простит улыбки, напишет мужу и... прощай мои надежды...»

Но, к удивлению моему, на другой день она была со мной гораздо любезнее и после обеда, когда, по обыкновению, я хотел уходить, заметила:

— Ну, что, довольны вы своим учеником?

— Доволен.

— И писали об его занятиях мужу? — спросила она с едва заметной улыбкой.

— Нет, еще не писал.

— Вы напишите. Леонид Григорьевич так любит Володю, что отчет об его занятиях обрадует его. Ну, а сами вы довольны деревенской жизнью?..

— Очень.

— И не скучаете?

— Нет.

— А мне все казалось, что вам должно быть скучно. Вы все сидите у себя наверху и никогда не гуляете.

— Я гуляю.

Разговор не завязывался. Она пристально взглянула на меня и вдруг как-то странно улыбнулась, точно красивую ее головку осенила внезапная мысль.

— Куда же вы? Мы сейчас едем кататься. Хотите? — проговорила она.

Я вспыхнул от этого неожиданного приглашения. Она взглянула на меня, уверенная, что осчастливила несчастного учителя. Явился каприз пригласить его, и он, бедненький, смутился от восторга.

— Благодарю вас, но я бы лучше остался дома. Я хотел пешком идти в лес.

— Не хотите?.. — изумилась Елена Алек-

сандровна. — Как хотите!

Она повернулась и ушла на балкон.

Дурное расположение ее продолжалось. Елена Александровна хандрила. Гостей никого не было, а если бывали, то не интересные — какой-то допотопный помещик с женой и дальние родственники Рязановой. Рязанова, видимо, скучала. Она по целым вечерам каталась верхом и, возвратившись усталая, одевала капот, распускала волосы и лениво прилегала на оттоманку, заставляя подростка играть Шопена.

— Ах, Верочка, ты не так играешь! — доносился снизу ее голос. — Разве можно так барабанить Шопена?

Она садилась за рояль, и рояль начинал петь под ее пальцами. Капризные, страстные звуки доносились до меня. Я выходил на балкон и жадно слушал.

Обыкновенно она скоро переставала, уходила в сад, и долго в тени густого сада мелькал ее белый капот.

Со мной она стала любезней, оставляла меня после обеда «посидеть» и иногда спускалась до шутки.

Барыня, видно, со скуки не прочь была даже пококетничать с учителем. Это я очень хорошо видел и держал себя настороже. Ей забава, а мне может кончиться плохо. С одной стороны — капризная барыня, а с другой — ревнивый муж.

О ревности его я уже догадывался из разговоров, которые вели иногда между собою сестры, смеясь, что они живут в деревне, запертые «Синей бородой».

Наступил июль.

Я не просиживал уже букой наверху, а проводил большую часть времени внизу с дамами, гулял вместе, читал им журналы, ездил иногда верхом вместе с Еленой Александровной и держал себя с почтительной скромностью тайно вздыхающего по ней молодого человека. Это, заметил я, Рязановой нравилось. Я робко иногда взглядывал на молодую женщину и, когда она вскидывала на меня взор, тотчас же опускал глаза, как бы смущенный, что она заметила. Приютившись где-нибудь в уголке, когда Рязанова играла на фортепиано, я задумывался, и, когда она спрашивала о причинах моей задумчивости, я вздрагивал и

отвечал, как будто застигнутый врасплох. А она как-то весело усмехалась и, казалось, принимала мое почтительное ухаживание снисходительно, как маленькое развлечение от деревенской скуки, тем более что она не допускала и мысли, чтобы скромный учитель смел когда-нибудь обнаружить чувства, волнующие его.

Меня интересовала эта игра, я с затаенной улыбкой смотрел, как эта капризная, избалованная женщина, самоуверенная, гордящаяся своей красотой, снисходила к скромному молодому человеку, уверенная, что он тайно влюблен в нее и что достаточно одного ласкового слова с ее стороны, чтобы осчастливить его. И Рязанова иногда дарила меня этим счастьем! Она бросила прежний тон и сделалась ровна, ласкова, покровительственно-ласкова. Ей, кажется, было забавно и весело видеть молчаливого и застенчивого учителя (она считала меня застенчивым), робко поднимающего на нее глаза и как-то осторожно отодвигающегося от нее, когда она удостоивала присесть рядом. Она продолжала свою забаву, вполне уверенная, что в ней нет никакой

опасности. Ей и в голову, конечно, не могло прийти, чтобы из этого могло выйти что-нибудь серьезное; она иногда брала меня с собой верхом, и мы носились как бешеные вдвоем по лесу.

Сестра Елены Александровны, познакомившись со мной поближе, была необыкновенно ласкова. Эта добрая, больная женщина, вечно с удушливым кашлем, жалела «молодого человека, разлученного с семьей», расспрашивала о матери и сестре с женским участием и за завтраком и обедом хлопотала, чтобы я больше ел, и по нескольку раз приказывала подавать мне блюда. Все принимали меня за скромного тихоню, и я, разумеется, не стал разуверять их. Мисс Купер, пожилая англичанка, очень чопорная и щекотливая, и та находила, что я благовоспитанный молодой человек, и однажды вызвалась похлопотать за меня о месте гувернера в каком-нибудь «вполне приличном» доме. Только подросток-гимназистка да Володя как-то сухо относились ко мне и редко со мной разговаривали; ну, да это меня не заботило. Мальчик занимался очень хорошо; я написал два письма

Рязанову об его успехах и получил от него в ответ благодарственное письмо. После оказалось, что Елена Александровна написала обо мне лестный отзыв, как о скромном молодом человеке, не похожем на обыкновенных учителей-студентов.

От Софьи Петровны я получал письма по два раза в неделю. Письма ее заключали в себе одни любовные излияния и скрытную ревность. Я читал их, рвал и изредка отвечал, отговариваясь занятиями. Несколько раз хотел я написать Соне, что между нами все конечно, но как-то не решался. Лучше, думал я, исподволь приготовить бедную женщину и написать ей после лета, что я уезжаю на Кавказ, что ли, и не скоро вернусь.

Ко мне в Засижье мало-помалу так привыкли, что, когда я после обеда долго засиживался наверху, за мной посылали, и Елена Александровна капризно спрашивала:

— Что вы там делаете, Петр Антонович? Мы ждем вас, хотим читать!

Я садился за чтение, в то время как дамы работали, а Верочка вертелась на стуле, вызывая строгие взгляды тетки.

XV

Был чудный июльский вечер. Дневная жара только что спала. В воздухе потянуло приятной свежестью и ароматом цветов и зелени. Все ушли гулять. Елена Александровна осталась дома; ей нездоровилось, и она просила меня почитать ей.

Она сидела на балконе, в капоте, с распущенными волосами, протянув ноги на подушки, и слушала повесть, в которой описывалась какая-то добродетельная женщина, не любившая мужа, но верная своему долгу и не поддававшаяся искушению любви. Когда я кончил, Елена Александровна задумчиво глядела в сад, играя махровой розой.

Я встал, чтобы уйти, но она остановила меня:

— Куда вы? Посидите.

Мы молчали несколько минут. Я смотрел на нее. Она заметила мой взгляд и улыбнулась.

— Нравится вам повесть? — спросила она.

— Нет, — ответил я. — Мне кажется, автор выбрал неестественное положение.

— Чье?

— Жены. Если она не любила мужа, кто же мешал ей...

— Оставить его?.. — перебила она.

— Нет. Сказать ему об этом.

Она усмехнулась.

— Разбить чужую жизнь? Нет, автор прав, молодой человек. Порядочная женщина должна поступить так, как поступила эта женщина! — сказала она горячо и вдруг замолчала.

— И наконец, довольно того, что она позволяла любить себя другому, — проговорила она задумчиво, — любить светлой, высокой любовью, как может любить только чистая, неиспорченная юность.

Она поднялась с кресла, жмуря глаза, потягиваясь и изгибаясь всем телом с грацией кошки, нежащейся под лучами солнца, взглянула на меня и весело заметила:

— Какой еще вы юный мальчик! Вам сколько лет?

— Двадцать три! — серьезно проговорил я.

— Двадцать три! как много! — пошутила она над моим серьезным ответом.

Она тихо усмехнулась и вышла с балкона, забыв на столе цветок, который держала в руках.

Не прошло и минуты, как она вернулась. Я быстро отдернул розу от своих губ и казался смущенным. Она взглянула, усмехнулась и не сказала ни слова. Я сидел, опустив голову, точно виноватый. Меня забавляла игра с этой кокеткой — забавляла и наполняла сердце каким-то злорадством. Мне нравилось, что она верит; мне приятно было, что эта светская, блестящая барыня, сперва третировавшая меня, как лакея, теперь держит себя на равной ноге и даже намекает о своей неудавшейся жизни с мужем. Конечно, она бесилась, что называется, с жиру, вообразила о своем несчастье от скуки. Сытая, богатая, окруженная общим поклонением, не знавшая, куда девать время, — мало ли каких глупостей не лезло ей в голову? А тут, под боком, молодой, свежий и, по совести сказать, далеко не уродливый малый, с пробивающимся пушком на румяных щеках, не смеющий поднять глаз на блестящую барыню и втайне по ней страдающий. Положение интересное для такой ми-

лой бездельницы, как она! Можно поиграть, позабавиться, пощекотать нервы двадцатитрехлетнего «мальчика» крепким пожатием, нежным взглядом, тонким, опьяняющим ароматом, которым, казалось, было пропитано все ее существо; пожалуй, пощекотать и свои нервы и потом забыть, как прошлогодний снег, несчастного учителя и с веселой усмешкой рассказывать какой-нибудь подобной же бездельнице, как смешон был этот медвежонок, осмеливавшийся робко вздохнуть и вздрагивать в присутствии красавицы. Если я поступал неискренно, то у меня по крайней мере было оправдание. Я хотел ей понравиться, чтобы через мужа добиться положения, а она... Что оправдывало эту барыню, опытную светскую женщину двадцати шести-семи лет? Что заставляло ее как бы нечаянно спускать косынку с плеч и повертывать голыми плечами перед «скромным мальчиком», заставляя его вздрагивать не на шутку?

А с каким презрением эта же самая женщина говорила иногда о безнравственности прислуги; как жестока она была в своих приговорах, когда вопрос касался какой-нибудь

девушки, оставившей родительский дом! Тогда глаза ее сверкали злостью, и она говорила о «нравственном падении» с патетической восторженностью, отыскивая во всем грязную сторону и относясь к «непорядочным» людям с нескрываемым презрением, хотя и была деятельным членом какого-то благотворительного общества.

«Вот она, — нередко думал я, весело усмехаясь, — этот образец добродетели, эта ненавистница мужчин, какую рекомендовал мне ее шут гороховый Остроумов! Она не прочь „пошалить“ с „мальчиком“, но так „пошалить“, чтобы все было прилично и чтобы никто не смел кинуть камень осуждения в эту добродетель, защищенную богатством, связями и изящными формами».

Заметив мое смущение, Елена Александровна приблизилась ко мне и тихо проговорила:

— Что это вы задумались и повесили голову? Верно, деревня уже надоела вам и вам хочется скорей в Петербург? Кстати, извините за вопрос, вы знаете, женщины так любопытны, — добавила она, смеясь, — с кем это вы

ведете такую деятельную переписку? Каждую неделю мне подают два-три письма из Петербурга на ваше имя.

— Это старая тетка мне пишет.

— Советует, верно, не скучать в деревне?

— Я не скучаю!.. — прошептал я.

— Не лгите!.. Какое же вам веселье здесь?

Вот, впрочем, скоро придет муж, и тогда вы будете с ним в пикет играть. Вы играете?

— Играю.

— Все веселее будет! — подсмеивалась она. — Не правда ли?

Я поднял на нее глаза. Она стояла такая веселая, свежая, блестящая и так кокетливо улыбалась. Я пристально и смело посмотрел на нее, и вдруг лицо ее изменилось. Куда девалась кокетливая ласковая улыбка! Она нахмурилась и взглянула на меня строгим, надменным взглядом, точно наказывая меня за смелость, с которою я взглянул на нее, и показывая, какое огромное расстояние разделяло меня от нее, Елены Александровны Рязановой, супруги Леонида Григорьевича Рязанова, видного деятеля и чиновника-аристократа.

Она ушла с балкона, не проронив ни слова

и не дожидаясь ответа на свой вопрос, села за рояль и долго играла в темной зале, играла порывисто, бурно, словно бы негодуя на что-то.

Я сидел, прижавшись в углу, и слушал.

Она оборвала резким аккордом какую-то бравурную арию, вышла на балкон и, облокотившись на перила, перегнулась станом, глядя в темневшую глубь сада. Ее белая стройная фигура резко выделялась в темноте. Она простояла долго, не оборачиваясь, и, проходя назад, повернула голову в мою сторону и проговорила строго:

— Вы еще здесь? Подите, пожалуйста, взгляните, не идут ли наши? Уже поздно!

Скоро пришли все с прогулки и сели за чайный стол. Елена Александровна была не в духе; зато сестра ее Марья Александровна, по обыкновению, пододвигала мне хлеб и масло, удивлялась, что я мало ем, и спрашивала, отчего я такой скучный.

— Верно, от матушки давно писем не получали? — заметила она ласково.

— Да, — отвечал я.

Елена Александровна подняла на меня гла-

за, и, показалось мне, усмешка пробежала по ее губам.

«Смейся, смейся! — думал я. — Смейся, сколько тебе угодно!»

Первые дни после этого вечера Елена Александровна выдерживала свой строгий тон и почти не говорила со мной, думая, конечно, что наказывает меня за дерзость, обнаруженную мной несколько дней тому назад, но через несколько дней она смягчилась и стала любезней. Ее точно забавляло дразнить меня, и она нередко меняла обращение: то была любезна, кокетлива, внимательна, то вдруг снова третировала меня с небрежностью гордой барыни и даже бывала дерзка, так что Марья Александровна не раз пожимала плечами и с укором шептала, взглядывая на сестру впалыми большими глазами:

— Helene! Helene!

Раз я даже слышал, притаившись в саду, как Марья Александровна допрашивала сестру:

— За что ты так притесняешь бедного Петра Антоновича? Ты иногда бываешь просто невозможна с ним.

— Будто?

— Он прекрасный молодой человек. Такой скромный, такой внимательный и, кажется, несчастный! За что такое обращение?

— Уж не нравится ли он тебе? — И Елена Александровна залилась смехом. — Ты так горячо его защищаешь.

— Helene! Что за вздор! Как тебе не стыдно говорить глупости? Мне просто жаль его. Я удивляюсь, как еще он выносит твое обращение.

— Еще бы! — как-то самоуверенно сказала она. — Смел бы не выносить!..

— Ты просто взбалмошная женщина! — с сердцем проговорила сестра.

— Может быть; только напрасно ты так жалеешь этого... сурка. Он вовсе не так скромн, как кажется. Карие его глаза часто бегают, как мышонки. Ну, да бог с ним!

И разговор сестер смолк.

Я слушал и злился. Злился и хотел проучить эту женщину. Но как проучить, в этот момент я не давал себе отчета.

Я стал реже спускаться вниз. Когда Елена Александровна приглашала меня «поскучать

вместе», я отговаривался спешной работой, которую будто бы должен приготовить для Остроумова. Рязанова пристально взглядывала на меня, точно изумляясь моему стоицизму. Ей хотелось продолжать шалить, а я настойчиво уклонялся. Она стала капризна и раздражительна. Очевидно, ей было скучно. Целую неделю я выдержал добровольное затворничество, и когда Рязанова, недоверчиво улыбаясь, спрашивала: «А вы все работаете?» — я отвечал, что «все работаю».

Однажды после обеда Марья Александровна с Верочкой и мисс Купер собрались на озеро смотреть рыбную ловлю. Звали Рязанову, но она сказала, что поедет кататься верхом, и приказала седлать Орлика.

— С кем же ты поедешь, Helene? Андрей болен.

— С кем? — переспросила она и прибавила: — Петр Антонович меня проводит.

Марья Александровна с укором взглянула на сестру. Действительно, тон Рязановой был небрежен и резок.

— Но, быть может, Петр Антонович не может. Он кончает работу...

— Он, верно, кончил! — проговорила Рязанова. — Хотите провожать меня? — повернулась она вдруг ко мне, окидывая быстрым ласковым взглядом, резко отличавшимся от небрежного тона ее слов.

— С большим удовольствием!

Марья Александровна пожала плечами, видя, как безропотно я согласился, а Верочка и Володя даже сердито взглянули, изумляясь покорности и безответности перед этим небрежным приказанием.

Рязанова взглянула на сестру с усмешкой, точно хотела сказать: «Видишь, какой он послушный!»

Марья Александровна с детьми уехала на озеро, а мы выехали на дорогу и тотчас же свернули в лес, большой густой лес, тянувшийся верст на пятнадцать.

Сперва мы ехали шагом, молча. Елена Александровна была серьезна. Я искоса взглядывал на барыню: она была очень хороша в амазонке; высокая шляпа, надетая набекрень, удивительно шла к ней. Стройная, изящная, красивая, блестящая под лучами солнца, она прекрасно сидела на красивом коне и точно

чувствовала, что ею любят.

— Ну, не отставайте от меня! — проговорила она, подтянула поводья, взмахнула хлыстиком, пустила лошадь рысью, потом в галоп и понеслась по лесу.

Мы скакали по лесной дороге, среди густой чащи деревьев, сквозь которую едва пробивалось солнце. В лесу было свежо и несло смолистым ароматом. Рязанова неслась впереди как бешеная, подгоняя лошадь хлыстом, когда Орлик уменьшал бег. Я едва поспевал за ней; в моих глазах мелькал только развевавшийся длинный вуаль. Мы углублялись все дальше и дальше в чащу, а Рязанова все неслась как сумасшедшая... Наконец я стал отставать. Она обернулась назад, взмахнула хлыстом и скрылась из моих глаз...

Когда наконец я догнал ее, она ехала шагом, опустив поводья. Орлик был весь в мыле, и она ласково трепала его благородную шею. Елена Александровна покраснела и прерывисто дышала... Глаза ее блестели и улыбались; полуоткрытые губы слегка вздрагивали.

— Благодарите меня, — проговорила она, смеясь, когда я подъехал к ней, — что я позво-

лила вам догнать себя, а то бы ехали вы теперь один-одинешенек... Ах, как хорошо здесь... в лесу! — прибавила она, заворачивая лошадь в узкую тропинку, по которой едва можно было проехать двоим.

Она поехала вперед, я ехал сзади. Так ехали мы несколько минут. Наконец Рязанова обернулась:

— Что ж вы сзади?.. Мне поболтать хочется...

Мы поехали рядом; наши лошади почти касались друг друга.

Она посмотрела на меня, улыбаясь какой-то странной улыбкой, и сказала:

— А вы все еще сердитесь?

— Я не сердился...

— Ну, ну, не сочиняйте, скромный юноша; точно я не знаю, что у вас никакой работы нет. Ведь правда? — шепнула она, нагибаясь ко мне. — Правда?

— Правда! — еще тише проговорил я.

— То-то! Ведь я все вижу, — сказала она и засмеялась.

Тон ее был особенный: ласковый и в то же время резкий. Она глядела на меня каким-то

загадочным, странным взглядом, продолжая улыбаться. Я ощущал в это время обаяние близости этой женщины. Казалось, между нами не было теперь никаких преград, и я свободно любовался ее пышным станом, ее разгоревшимся лицом, ее маленькой ручкой. Она позволяла мне любоваться ею, точно испытывая силу своего очарования.

Мы все подвигались вперед. В лесу было так хорошо и свежо. Только треск под копытами сухого валежника нарушал торжественную тишину леса. Впереди, на полянке, показалась маленькая полуразвалившаяся изба, густо заросшая вьющимся хмелем.

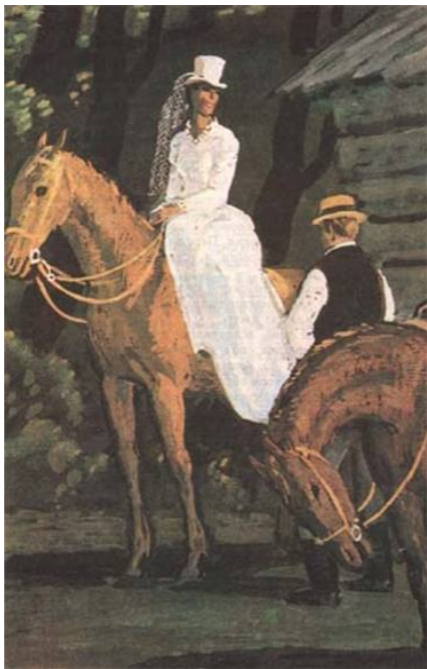
— Я устала. Отдохнем здесь! — проговорила Рязанова.

Я спрыгнул с лошади и помог ей сойти. Когда я обхватил ее стан, руки мои вздрагивали.

Я привязал лошадей. Елена Александровна вошла в избу и присела на лавке у окна.

— Тут прежде лесник жил, — заметила она и задумалась. — А вы что стоите? Садитесь! — резко сказала она.

Я сел около, молча любуясь ею. Она сдернула краги, облокотилась на окно и глядела в



лес, вся залитая багровыми лучами заходящего солнца. Я любовался ею и видел, как тяжело вздымалась ее грудь, как вздрагивали ее губы.

— Что же вы молчите? — повернула она

свою голову. — Говорите что-нибудь... Посмотрите, как хорошо здесь!

Но что я мог сказать?

— Какой вы... смешной! Что вы так смотрите, а? Говорите же что-нибудь, а то вы так странно молчите! Ну, рассказывайте, отчего вы так сердились на меня? Теперь не сердитесь, нет? — говорила она странным шепотом, вовсе не думая о том, что говорит.

Но вместо ответа я вдруг схватил ее руку и покрыл ее поцелуями. Она не отдернула руки, и я чувствовал, как рука ее дрожала в моей. Я взглянул на нее. Она сидела, улыбаясь все тою же загадочной улыбкой, с полуоткрытыми губами. Глаза ее подернулись влагой. Вся она словно млела.

У меня застучало в висках. Я вдруг почувствовал, что эта женщина моя, обнял ее и стал покрывать поцелуями шею, лицо, грудь... Она тихо смеялась, замирая в моих объятиях.

«Что, теперь не смеешься?» — думал я, когда через четверть часа помогал Рязановой садиться на Орлика. Она старалась не глядеть на меня. Передо мной теперь была уже не ка-

признавая, гордая барыня, а усталое, нежное создание, склонившее голову.

Мы ехали молча. Но скоро она погнала лошадь и помчалась из лесу как сумасшедшая. Когда я вернулся домой, Орлика уже водили по двору.

На следующий день, встретившись за завтраком, Елена Александровна держала себя как ни в чем не бывало. Она сухо поздоровалась со мною и сказала несколько слов. С этого памятного вечера обращение ее сделалось еще суше и резче. Она редко говорила со мной, и если говорила, то небрежным тоном, третируя меня как несчастного учителя, что приводило добрую Марью Александровну в огорчение. Я редко оставался внизу и продолжал относиться к Рязановой с почтительной вежливостью учителя; мое обращение ей, видимо, нравилось. После обеда мы часто ездили кататься и заезжали в избушку, а через несколько времени, когда ночи стали темней, я лазил из сада к ней в спальню, и она ждала меня, встречая горячими объятиями, тихим смехом и сладостным лепетом...

Я торжествовал. Самолюбие мое было удо-

влетворено. Эта светская барыня, третировавшая меня днем, была моей послушной любовницей ночью, делала сцены ревности, когда я пропускал одну ночь, говорила, что только в моих ласках она поняла счастье любви. Ни одна душа не догадывалась о наших отношениях. Такой скромный любовник, как я, и нужен был этой женщине, боявшейся светской молвы как огня.

XVI

Наступил август.

В одно прекрасное утро была получена телеграмма, что приедет Рязанов. Елена Александровна казалась очень обрадованной и веселой. Я, признаться, струсил. А вдруг она в порыве признается мужу? Я намекнул ей об этом. Она весело расхохоталась и шепнула:

— Глупый! Разве я отпущу тебя? — и прибавила: — мы будем опять кататься верхом!

Рязанов приехал, веселый и довольный; в последнее время Рязанова часто писала ему и звала его приехать. В течение месяца, который пробыл Рязанов в деревне, он был постоянно весел и счастлив. Елена Александровна как будто изменилась: не капризничала, не делала мужу сцен и даже позволила ему спать в спальне. Он благодарил меня за занятия с сыном и был предупредителен со мной.

После обеда он нередко просил меня ехать кататься с его женой и часто делал замечания Елене Александровне за то, что та недостаточно со мной любезна... По вечерам мы играли с ним в пикет. Рязанов все более и более ко мне

привыкал и однажды спросил меня, не желаю ли я служить? Я, конечно, пожелал.

— Мне нужен секретарь! — сказал он. — Вы пишете хорошо. В скромности вашей я уверен, в трудолюбии тоже. Хотите?

Я, конечно, рассыпался в благодарности.

— Работы у вас будет много, но жалованье у нас невелико. Впрочем, мы пособим и этому. Я вам еще устрою место в правлении железной дороги... так что вы будете получать тысячи три, а впереди дорога для вас открыта... Такой способный молодой человек, как вы, не может остаться незамеченным.

Он попробовал меня, дал составить резюме из огромной докладной записки и остался очень доволен моей работой...

— Что же касается до взгляда на службу, то едва ли мне нужно говорить с вами, Петр Антонович. Вы, кажется, понимаете, что на службе личные убеждения надо спрятать в карман и... исполнять волю пославшего... — заметил он улыбаясь. — Впрочем, — прибавил он, — у вас такта довольно. Главное — такт... Без такта служить нельзя...

Когда на другой день мы ехали по лесной

глуши с Еленой, то она сказала:

— Предлагал муж тебе место?

— Да... и этим я, конечно, обязан вам?

Она засмеялась, как ребенок, веселым смехом и проговорила:

— Вы всем обязаны себе, мой красивый и скромный Ромео!..

Она весело болтала, рассказывала, как сделает меня секретарем благотворительного общества, в котором она председательствует, как мы будем ездить вдвоем посещать бедных и как она будет смотреть, чтобы я в Петербурге вел себя хорошо...

А я?.. Я ехал и думал, как скоро судьба помогла мне. Прошел год с тех пор, как я приехал в Петербург, и я уже вышел на дорогу... Впереди — дорога открытая, и от меня будет зависеть не сходить в сторону. С Соней я уже покончил. Недели две тому назад я наконец написал ей письмо, в котором писал, что отношения наши кончены, что мы не пара. Письмо было убедительное, и я уверен был, что Соня поймет и примет его как неизбежный конец наших отношений. Меня только удивляло, что я не получал никакого ответа.

При сравнении ее с блестящей, красивой Еленой, маленькая Соня казалась такой невзрачной мешаночкой, такой глупенькой, смешной...

Елена весело болтала. В это время, в нескольких шагах от нас, из леса вышла толпа крестьянских мальчишек, окружавших высокую, стройную фигуру девушки. Невдалеке от них шел какой-то пожилой рыжебородый господин в высоких сапогах.

Мы поравнялись с толпой, и в изящной девушке я узнал Екатерину Нирскую. Она весело разговаривала с мальчишками, и, когда подняла голову, я поклонился ей; она вдруг побледнела, едва кивнула на мой поклон и с презрением отвернулась от меня. Я был изумлен, когда до моих ушей долетели ее слова, произнесенные с ироническим смехом:

— Это тот самый скромный молодой человек!

— Вы знаете Нирскую?! — изумилась Рязанова.

— Знаю. Я был чтецом у ее бабушки!

— А!.. Она живет верстах в десяти от нас, в деревне. Странная девушка! Оригинальничает!

ет!.. Открыла школу и возится с этими пачкунами, — произнесла она, презрительно щуря глаза. — Нравится она вам?

— Нет.

К счастью, Рязанова не слышала слов, произнесенных Нирской, и не входила в дальнейшие объяснения. Она взмахнула хлыстом; мы понеслись вперед и скоро свернули в глухую тропинку.

Дня через два, когда я сидел у себя наверху, лакей сказал мне, что какой-то господин желает меня видеть. Я недоумевал, кто бы это мог быть, и удивился, когда через несколько минут в комнату вошел тот самый рыжебородый господин в высоких сапогах, которого я на днях встретил в лесу. Лицо его напомнило мне Сою, что-то похожее было. Господин взглянул холодно и проговорил:

— Вы господин Брызгунов?

— Я! Что вам угодно?

Я хотел было протянуть руку, но господин держал руки засунутыми в карманах.

— Моя фамилия Иванов. Я двоюродный брат Сони Васильевой! — проговорил он.

Я струсил. Он, должно быть, заметил это,

как-то презрительно усмехнулся, помолчал и тихо начал:

— Соня больна. Она получила ваше письмо и слегла в постель.

— Если надо, я поеду навестить ее, — проговорил я.

— Послушайте, зачем же вы ее обманывали? — как-то грустно проговорил господин.

Я начал было оправдываться, но он остановил меня:

— Я знаю все от сестры. Она давно догадывалась, что вы не любите ее, и просила разузнать о вас. Я недалеко живу, на фабрике. Я слышал, как вы любезничали с этой барыней в лесу, и написал Соне, чтобы она забыла вас, но вы продолжали писать ей жалкие слова и наконец написали письмо, жестокое письмо. Она сообщила мне его содержание, но просила ничего вам не говорить.

Он умолк и как-то грустно взглянул на меня.

— Вы так молоды, а между тем так поступили с бедною женщиной! А она надеялась! Ее письма дышали такою любовью к вам! Впрочем, не в том дело. Вчера я получил теле-

грамму от доктора, что она опасно больна. Она выкинула ребенка, и жизнь ее находится в опасности.

— Я поеду к Софье Петровне, если вы находите это необходимым, и успокою ее.

Он пристально оглядел меня с ног до головы и повторил:

— Если я нахожу необходимым? А вы... вы не находите это необходимым?! — вдруг крикнул он, подходя ко мне вплотную...

Я подался назад, заметив, как вдруг лицо его исказилось злобою и стало белей полотна...

Он стоял как бы в раздумье, стиснув зубы, и снова спросил:

— А вы... вы не находите необходимым?

Я инстинктивно схватился за стул. Он окинул меня презрительным взглядом и тихо прошептал:

— Господи! Такой молодой и такой подлец!

С этими словами он тихо вышел из комнаты.

Злоба душила меня. Я хотел было броситься на него, но вспомнил, что внизу занимался Рязанов, и употребил чрезвычайные усилия,

чтобы остаться на месте.

Я припал на постель и долго не мог прийти в себя. Через несколько часов я был спокоен и дал себе слово никогда не забыть этого человека и припомнить ему оскорбление.

И что я такое сделал? Разве я обязан был вечно нянчиться с этой влюбленной дурой и смотреть, как она чинит мое белье?

Это по меньшей мере было бы глупо.

В сентябре я приехал с Рязановыми в Петербург и скоро получил обещанное место. Жизнь моя изменилась. Я жил в приличной квартире, держал лакея, работал, познакомился с порядочными людьми и принимал у себя тайком Рязанову. Я достиг своей цели и мог сказать наконец, что живу так, как люди живут... Будущее манило меня блестящими картинами, а пока и настоящее было хорошо. Ко мне все относились с уважением; чиновники заискивали в секретаре Рязанова, а сам Рязанов не чаял во мне души и радовался, как дурак, когда через восемь лет супружества у него наконец родился сын...

Те самые люди, которые год тому назад не

протянули бы мне руки, теперь относились с уважением к солидному молодому человеку, принятому в порядочном обществе. У меня было положение, была будущность; оставалось приобрести состояние, и я решил, что и оно у меня будет...

Через год я увидел Соню. Однажды я шел по улице и встретил ее. Она была такая же пухлая и свежая, но теперь лицо ее показалось мне слишком вульгарным. Я приветливо поклонился ей, но она вдруг побледнела, взглянув на меня, и прошла, не ответив на мой поклон. Я только пожал плечами и усмехнулся.

Я съездил в свое захолустье, к матушке, и застал ее в большом горе. Лена, как я и предвидел, кончила скверно, отыскивая какую-то дурацкую свою «правду».

Я старался успокоить старушку, но она была безутешна и все просила меня похлопотать за нее у Рязанова.

Но разве мог я, не компрометируя себя, просить за сестру, и у кого? У Рязанова?

Разве я мог сказать слово в защиту глупой, смешной девчонки?

Я старался объяснить это матушке, но она как-то странно посмотрела на меня, залилась слезами и с укором заметила:

— Петя, Петя! Что сказал бы твой отец?

— Покойный отец был непрактичный человек, маменька!

— А ты... ты слишком уж практичный! — грустно прошептала она и простилась со мною очень холодно.

Глупая старушка!

Она не понимала, что я был прав и что в жизни бывают положения, когда надо заставить молчать сердце и жить рассудком. Благодаря тому что я жил рассудком, я выбился из унижительного положения.

Прошло несколько лет, я расстался с Рязановой. Уж очень ревнива стала она, и наконец связь наша могла компрометировать меня в глазах общества.

Она стала упрекать меня, говорила, будто я погубил ее, но, как умная женщина, скоро поняла, что говорит глупости. Елена Александровна, впрочем, утешилась, отыскав другого юного любовника...

Я имел положение и средства. Я был счастлив.

Оставалось увенчать счастье семейной жизнью, и я стал приискивать приличную невесту...

Вспоминая прошлую жизнь, я с гордостью могу сказать, что обязан всем самому себе, гляжу на будущее с спокойствием и трезвостью человека, понимающего жизнь как она есть.

Только сумасшедшие, дураки или блаженные вроде Лены могут погибать в житейской борьбе, не добившись счастья.

Умный и практичный человек нашего времени никогда не останется наковальной.

Жить, жить надо!